

ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!

В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

Стоимость билета — 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

Росглавкнига
Дирекция Всероссийской
книжной лотереи



№ 48

1986



МАЛЕНЬКИЙ РАЙ

РАССКАЗЫ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

МАЛЕНЬКИЙ РАЙ

Рассказы латиноамериканских
писателей

*Составил и перевел с испанского
Ростислав РЫБКИН*

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Арольдо КОНТИ (р. 1925 г.) — аргентинский писатель, автор романов и рассказов, посвященных жизни и судьбам его сограждан. Произведениям А. Конти не раз присуждались литературные премии, в том числе (в 1975 г.) кубинская премия «Дом Америк». А. Конти пропал без вести в годы разгула реакции в Аргентине.

Хулио КОРТАСАР (1914—1984) — известный аргентинский прозаик, романы и рассказы которого широко переводятся на многие языки мира, в том числе и на русский. Значительное место в творчестве Х. Кортасара принадлежит социальной сатире.

Луис БРИТТО ГАРСИА (р. 1940 г.) — венесуэльский прозаик и драматург. Романы и рассказы Л. Бритто Гарсиа широко известны в странах Латинской Америки; сборник его рассказов, откуда взяты три предлагаемые ниже вниманию читателей, был отмечен в 1970 г. кубинской литературной премией «Дом Америк».

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС (р. 1928 г.) — всемирно известный колумбийский писатель, автор романов «В недобрый час», «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», повестей и рассказов. Лауреат Нобелевской и ряда других литературных премий.

Даина ЧАВИАНО (р. 1957 г.) — одна из талантливейших кубинских писательниц своего поколения, автор двух сборников повестей и рассказов. Ее сборник «Миры, которые я люблю» был отмечен в 1979 г. на Кубе национальной литературной премией «Давид».

Хуан Хосе АРРЕОЛА — современный мексиканский прозаик, автор коротких рассказов и притч, популярных в Латинской Америке и за ее пределами. Среди произведений Х. Х. Арреолы много остросатирических.

На обложке:

Рамон Соса Монтес (Мексика) Мать Ксикальпо.

Ad astra¹

Это случилось в первые дни весны, когда меняются ветры.

Старик сидел в патио, и в голове у него проплывали мысли о том, что предстоит сделать летом. Нужно починить мельницу, а потом и сарай. Вообще-то лучше бы, пока не наступила жара, начать с сарая, однако важнее мельница.

Но, несмотря на все заботы, приближение лета его радовало. Радовало, может быть, даже слишком. Такое уж сейчас было время: дорога еще не просохла после зимних дождей, но на ивах уже начали раскрываться почки.

Старик придвинул стул к глинобитной стене и закурил сигару. Тут-то все и произошло.

Он еще закуривал, когда услышал над головой гудение.

Только что стих восточный ветер, и тогда-то старик и услышал гудение, услышал очень ясно. Казалось, что оно родилось в небе и приближается с запада, из-за дома. Сначала старик не разглядел ничего, однако понял, что старуха услышала гудение тоже, потому что теперь она вышла в галерею и смотрела на небо.

Старик уже поднялся, собираясь вернуться в дом, когда увидел большую птицу, медленно летящую на высоте семи или восьми метров от земли по направлению к дороге. В миг, когда она пролетала над сараем, старуха что-то крикнула, а он увидел на земле черную, крылатую тень, не меняющую очертаний, и тогда старика охватило какое-то смутное предчувствие.

Сперва ему показалось, будто это птица, потом — что это бочонок с крыльями, а когда летящий предмет скрылся за соснами, он уже знал: это сочетание того и другого с человеческой головой.

Кроны сосен были негустые, и, пока птица плыла, постепенно снижаясь, над их верхушками, казалось, что ветки хлещут по огромной тени, плавно скользящей между ними. Старик прикинул: сядет чуть подальше, за поворотом дороги. Но, еще над полем, странная птица резким рывком поднялась вдруг метра на два или три вверх, и старику показалось, что сейчас она взмлет ввысь и улетит. Она ввинтилась в воздух и замерла на мгновение, расправив крылья — казалось, они стали больше и верней, чем прежде, — а потом повернула влево и заскользила, и ее стало относить назад, к дому.

¹ К звездам (лат.). Здесь и далее — примечания переводчика.

Старик во второй раз увидел лицо, совсем белое на фоне крыльев, и бьющие о воздух ладони — казалось, птица вот-вот ударится о стену мельницы. Но когда до стены оставалось не больше метра, невиданная птица накренилась, завертелась волчком и камнем упала на огород.

Старик уже бежал туда, а его пес, лая, рвался с цепи.

В тот миг, когда старик перепрыгивал через проволочную ограду, упавший поднялся среди грядок с помидорами, и старик остановился как вкопанный — такого человека он не видел никогда в жизни, если считать, что это и в самом деле был человек. Из-за крыльев, шлема и подобия панциря, внутри которого был закреплен механизм, он казался очень большим, но старик, привыкший с одного взгляда оценивать под перьями упитанность птицы, сразу понял, что тело под этими доспехами скрывается маленькое и тщедушное. На человеке были комбинезон, плотно облегавший тело, легкие туфли из дешевой бараньей кожи или из парусины, пара наколенников и шлем, окруженный валиком — похоже, что пробковым.

Круглые блестящие очки держались на голове благодаря двум завязанным на затылке тесемкам, прикрепленным к заушникам. Но удивительней всего были его странный панцирь (спереди, на груди, из алюминия, а сзади из кожи) и ремни с пряжками, пропущенные между ног и подмышками. К этим ремням и были прикреплены два крыла из навощенной ткани, одно из которых сейчас стлалось по земле, а другое торчало сломанным концом вверх, как наполовину открытый складной нож.

Увидев старика, человек замер в нерешительности. Он был весь в пыли и в крови, но попытался улыбнуться. Старику показалось, что его внимание целиком приковано к помидорам. Потом, переступая медленно и как-то странно, человек двинулся к проволочной ограде, и при каждом его шаге что-то скрипело и скрежетало. Шел он так медленно и необычно потому, что ему мешал кусок ткани с вшитой проволокой, соединявший ноги и похожий, если посмотреть сбоку, на настоящий хвост.

Кроме того, у него, вероятно, были переломы костей.

Дойдя до середины ограды, он остановился, ухватился обеими руками за столбик и улыбнулся опять. Очки блеснули как два маленьких зеркала, и от этого человек выглядел еще более неправдоподобным. По-прежнему улыбаясь, он отпустил столбик, протянул руки к старику и попытался было сделать шаг, но упал как подкошенный.

Старик взнуздал гнедого и впряг в двуколку. Потом они со старухой положили туда упавшего, вместе с крыльями и остальным снаряжением, и в предзакатном свете старик отправился в путь. В это время снова задул ветер с востока.

Время от времени человек стонал, а стоило ему пошевелиться, как снова слышался скрежет. Если бы не это, его можно было бы принять

за мертвого. Старик иногда поглядывал на него украдкой, но тут же отворачивался, не в силах вынести взгляда этих глаз, закрытых зеркалами очков.

В городок въехали, когда стемнело, и крыльев, торчащих из повозки, никто не увидел.

Перемещая сигару из одного угла рта в другой, доктор Сан-Роман выслушал старика, потом заставил повторить все сначала, но снова так ничего и не понял.

Наконец он взял фонарь и, отдуваясь, влез в двуколку.

Он внимательно оглядел лежащего, но никакого удивления не выразил. Почесал затылок и сказал только:

— А, homo volans¹.

Человека сняли с двуколки, пронесли, стонущего и хрипящего, через полумрак прихожей, освещенной маленькой лампочкой, и положили в большой комнате, где пахло лекарствами.

Доктор Сан-Роман снял пиджак, неторопливо засучил рукава и, не выпуская изо рта сигары, начал освобождать пострадавшего от его диковинной сбруи.

Снимать панцирь и крылья доктору помогал старик. Кроме ремней и пряжек, там оказалось множество пружин, которых он сначала и не заметил, — они были скрыты в швах и стыках. Они-то и скрежетали — они, но и что-то другое, более сложное и непонятное.

Последними доктор снял с человека очки и шлем, задумался, потирая затылок, а потом наклонился, светя фонариком, перебрал сигару в другой угол рта и негромко позвал:

— Аргимон!

Он был сгустком боли, и сгусток этот становился все плотнее. Как скопление планктона. Как туча.

Но когда водоворот боли его затянул, когда не осталось ничего, кроме нее и далекого, сонного, неизвестного берега, с которого снова и снова окликали его, Аргимона, по имени, внезапно родился новый, доселе неведомый ему Басилио Аргимон и взмыл по спирали к одинокому, но полному бытию. Он слышал шепот вокруг постели, блуждающий по комнате голос, шаги, переносящие этот голос с места на место, гудение мельницы, то очень высокое, то низкое, плывущее в прозрачном воздухе, размеренный гул колоколов в час вечерни. Чье-то лицо заглядывало, как в колодец, в его глаза, а вокруг — тишина, мучительная, сжигающая, как невидимый огонь. Но жалкое, щуплое тело, вызывающее насмешки или презрительное сочувствие, вовсе не было подлинным Басилио Аргимоном. День за днем и год за годом оно служило для того, чтобы носить в себе подлинного Аргимона, а потом забросить его в вышину, где он, непобедимый, теперь парил. Там,

¹ Летящий человек (лат.).

между небом и землей, он и пребывал сейчас. Все остальное было поиском во тьме, бесплодным блужданием среди людей, подражанием одновременно человеку и ангелам — пока Басилио Аргимон не разбежался и не прыгнул ввысь. Его жалкое тело осталось там, на земле, но сам Басилио Аргимон... Восточный ветер дышал — глубоко, равномерно. Человек вошел в воздушное течение и на миг замер в нерешительности. Но потом крылья взрыли воздух, и как молния пронзила мысль: он Крылатое Существо! Он может летать! Он сотворен, оснащен и предназначен для полета. Сейчас это истина только для него, люди ее поймут потом. Но это Истина.

То, что произошло затем, не имело значения, оно касалось только человека, того, земного, которого Крылатое Существо должно было принять в себя и растворить. Эта его часть, только эта, низверглась с высоты на землю.

В то время как он падал и, падая, превращался в сгусток боли, он видел, словно сквозь пелену тумана, череду картин, все более и более смутных: цинковую крышу, встревоженное лицо старика, ряд сосен с обломанными ветками, еще не просохшую дорогу, сливающуюся вдалеке с наступающей ночью, и грозные очертания мельницы. А потом картины стали дробиться, тускнеть...

Дом доктора Сан-Романа он покинул только через месяц. Казалось, люди позабыли об этой истории. В действительности же они поступили так, как поступали всегда, когда сталкивались с чем-нибудь непонятным: перекроили на свой манер, переварили и отвели случившемуся место в ряду привычных событий, чтобы оно не мешало им спокойно жить. Сначала то, что Басилио Аргимону захотелось летать, удивило и смутило их. Быть может, окажись на его месте кто-нибудь другой, — например, хитроумный выдумщик Планкит, который изобрел собственный пантографический телеграф и рождественский вертеп с движущимися фигурами, а за несколько лет до этого совершил настоящую революцию в садоводстве, предложив при прививке деревьев применять коллодий вместо популярной в те времена мази «Паолони», будь это Планкит, никто бы не удивился. По существу, неожиданностью было не то, что кто-то захотел летать или даже полетел, а то, что такое намерение возникло именно у Аргимона.

Как и следовало ожидать, в «Японском баре» произошло горячее, хотя и несколько беспорядочное обсуждение случившегося.

Планкит, в заводном рождественском вертепе которого была, разумеется, и фигурка летящего ангела, утверждал (вероятно, не без оснований), что летать, механически воспроизводя полет птицы, невозможно. Маэстро Марселетти, директор «Музыкальной школы Перголези», напротив, утверждал с некоторой горячностью, что этот фантазер — подлинно творческая личность, и что, если бы не воз-

душные течения, он бы при помощи своего приспособления благополучно спустился с мельницы. Перейдя затем к соображениям более туманным и общим, маэстро Марселетти упомянул об одиночестве творца и тернистом пути художника, а потом, обронив что-то о метании бисера перед свиньями, перешел, как и следовало ожидать, к рассуждениям о «высших порядках бытия» и «путях духа». Из тона и содержания его речи, хотя он не сказал об этом прямо, можно было понять, что, говоря о творце, он имеет в виду и себя: «Клуб искусств», приходской хор, благотворительные концерты и спрятанный где-то в самых потаенных складках прошлого нежнейший романс, который он сочинил в часы бессонницы к пятидесятилетию городского клуба, а также написанное им песнопение к празднику святого Иосифа Купертинского, покровителя городка, тоже были «метанием бисера перед свиньями».

Планкит закричал, что это совсем разные области и, во всяком случае, право судить о полете Аргимона принадлежит прежде всего творцу с таким же направлением интересов, если только считать Аргимона творцом.

Маэстро Марселетти вскочил и, глядя на Планкита сверху вниз, тряся редкими прядями на затылке, заявил громогласно: творческий гений — это одно, а вот талант комбинатора — совсем другое.

Что этим маэстро хотел сказать, Планкит не совсем понял, но все равно счел себя глубоко оскорбленным и демонстративно покинул бар, преследуемый громовым голосом маэстро Марселетти, который успокоился, лишь когда пришло время платить по счету.

Проблемы этой касалась (и, пожалуй, еще более ее осложнила) витиевато-напыщенная статья о труде Хуана Альфонсо Борелли «*De motu animalium*»¹. Статья эта, помещенная в журнале «Эль Меркуριο», была без подписи, но своим неуклюжим юмором, столь свойственным Планкиту, выдавала автора с головой. Впрочем, кроме заглавия «День сегодняшний», никаких прямых ссылок на полет Аргимона в ней не содержалось.

Маэстро Марселетти ответил через неделю заметкой, не менее иносказательной, о «*Letriomphe d' Icar*»², в которой он, позабыв о том, что главное в музыкальном произведении все же музыка, ударялся в рассуждения об авионавтике. Композитору при этом приписывалось намерение, которое едва ли у него было, а именно — воспроизвести в звуках сугубо технические аспекты полета; кроме того, в выше-названном музыкальном произведении ухо маэстро Марселетти улавливало пророческий смысл, каковой безусловно там отсутствовал.

И на этом все закончилось.

¹ •О способах передвижения животных• (лат.)

² •Триумф Икара• (фр.)

Через месяц Аргимон, в плаще поверх комбинезона и в легких туфлях из дешевой бараньей кожи, покинул дом доктора Сан-Романа.

Почтальон Медина, как всегда, приветствовал его взмахом руки.

Турок Палатидис (на самом деле он был грек, но жители городка почему-то предпочитали называть его турком) чуть заметно кивнул и вроде бы улыбнулся или что-то сказал, обращаясь к кому-то в глубине своей лавки.

С араукарий на площади уже сыпалась пыльца, а помост для оркестра был весь в глициниях. Над головой Аргимона между галереей дома, мимо которого он проходил, и высоким, пышным кустом макрокарпуса плавно пролетел певчий дрозд; благодаря своему хорошему знакомству с пернатыми Аргимон узнал птицу издадала. У него защемило сердце. Он улыбнулся дрозду и пошел быстрее.

Тротуар перед «Японским баром» был заставлен столиками, за которыми одни читали газеты, а другие, и среди них Планкит, лениво переговаривались. Когда на противоположной стороне улицы появился Аргимон, Планкит замолчал, и все, кто с ним сидел, повернули головы и проводили Аргимона взглядом.

Бурьян перед его домом сравнялся высотой с оградой, а голубые гроздья глициний свисали с карнизов как венецианские фонарики. Он ухватился за изгородь и потом долго смотрел на дом, не решаясь войти. Что было бы с ним без этого дома? Все эти годы, все эти долгие, безмолвные годы до рождения Крылатого Существа, когда он двигался на ощупь, как в потемках, возвращаясь тысячу раз назад, то ликуя, то чуть не плача, — все эти годы, о боже, остались там, за этой дверью, которую он в один прекрасный день отворил, чтобы выйти из нее с парой крыльев под мышкой.

Он перепрыгнул ограду и, смятая высокую траву, пересек сад.

Открыв дверь, он увидел на полу два номера «Амиго де лас сенсиас» и один номер «Ла расон католика». Этот последний был просунут под дверь не кем иным, как маэстро Марселетти, который заложил в нем белой карточкой страницу новостей науки и подчеркнул на этой странице красным карандашом два сообщения: одно о том, что в Париже создана постоянная комиссия по практическому воздухоплаванию, и другое — о новом музыкальном инструменте под названием «симфонист», его, на основе фисгармонии и органа, удалось создать аббату Гишнэ, «простому сельскому пастырю, которому, кроме трудолюбия и упорства, бесспорно, помогало и Провидение».

В счастливом совпадении, сведшем эти две заметки на одной и той же странице, маэстро Марселетти явно усмотрел знамение свыше, о чем свидетельствовала надпись, уверенной рукой сделанная на закладке: «Ad maiora nati sumus»¹. Ваш Марселетти.

¹ «Мы рождены для великих дел» (лат.)

Аргимон зажег примус и, поставив кипятить воду, стал читать. Потом заварил чай, налил себе чашку и снова перечитал первую заметку, надпись на закладке, статью в «Амиго де лас сьенсиас» о цветных метеорах, наблюдавшихся в Париже в последние пятнадцать лет, и опять — надпись маэстро на закладке. Оказывается, он, Аргимон, не одинок.

То там, то тут, как ныне, так и прежде, он обязательно встречал какого-нибудь одинокого представителя вымирающего, но неистребимого племени мечтателей, которое есть соль земли и к которому по праву принадлежат герои, пытающиеся летать.

Он снова вложил закладку в журнал, взял в одну руку чашку чая, в другую — все эти вести и послания из внешнего мира и поднялся по узкой лесенке на чердак, туда, где жил настоящий Басилио Аргимон.

Через запыленные стекла пробивался солнечный луч. Усталым, но любящим взглядом Аргимон обвел немые предметы, весь этот долгий месяц ждавшие его возвращения: большой стол со стертymi и выщербленными краями, миллеровскую лампу, словно парящую в полумраке под опаловым шаром абажура, рулоны чертежей, готовальню, верстак, пресс, ртутный барометр, модель жиффаровского дирижабля, сделанную его, Аргимона, собственными руками и подвешенную на потолочной балке, многочисленные сложные каркасы крыльев, скрипящие при малейшем дуновении ветерка, скрепленный проволоками скелет голубя, жаровня, козлы, книги, гигрометр с монахом, стоящий на подоконнике, чучела горного жаворонка, дрозда и птички «вижу-вижу», кресло-качалку, оставшееся ему от покойной матери, в котором он читал или думал, а под конец, на рассвете, когда сон настигал его, засыпал.

Снимая плащ, он уже критически оглядывал висящий на стене испещренный условными обозначениями, точками и штрихами чертеж. Именно по нему сделал он последнюю пару крыльев — те, с которыми он упал и которые снял с него доктор Сан-Роман.

Он отворил окно. Посреди заросшего травой патио яркими желтыми цветами цвела акация. За «ночной красавицей» почти не видно было ограды. По ту сторону ограды поднимался темно-зеленый, с металлическим отливом холм. За холмом начиналось небо.

Он уже хотел было отойти от окна, когда на акации кто-то часто-часто забил крылышками. Блеснув очками, Аргимон просвистал три короткие ноты, одну повыше, две другие — ниже.

Все затихло. А потом с самой верхушки дерева прозвенела повторяющаяся, быстрая, звонкая трель, будто вдруг засверкали в высоте уходящего дня хрустальные брызги.

Аргимон начал методично и в то же время рассеянно искать что-то среди книг, рулонов бумаги, потом на верстаке, за козлами; и, по-прежнему пересвистываясь с невидимой птицей, пошарив среди каркасов, за прессом, нашел наконец ее, эту жестяную коробку,

взял пригоршню канареечного семени и насыпал в алюминиевую тарелку на подоконнике.

Трель спустилась ниже и словно повисла над землей, покачиваясь из стороны в сторону. Чу-к — здесь, ку-рик — там. И вот на ближайшей ветке акации показался дрозд.

Аргимон ласково улыбнулся:

— Перышко, Перышко, фить, фить!..

Птица склонила набок головку и посмотрела на него черным блестящим глазом.

— Фить-фить, Перышко, фить!..

Она прыгнула к самому краю тарелки.

— Фюить-фюить, фюить...

Голос Аргимона становился все тише.

— А твои друзья? — спросил он шепотом. — Где твои друзья, а?

И, глядя на чертеж, снова начал напевно:

— Перышко, Перышко, фить-фить...

Он снял очки, подышал на них, потер стекла.

Потом взял большой лист бумаги, прикрепил его кнопками к стене поверх висевшего на ней чертежа, вытащил из стакана, стоявшего на столе, карандаш, прочертил им в воздухе несколько линий, провел рукой по листу бумаги, словно лаская его, и, помедлив секунду, начал чертить заостренный контур огромного крыла.

Над новой моделью крыльев Аргимон проработал всю весну. Замысел был совсем новый, от всех своих прежних опытных образцов и конструкций он отказался. Новый замысел родился у него в те мгновения, когда он плавно снижался к дороге — незадолго перед тем, как упал в огород. Потом, весь этот долгий месяц, он вынашивал свою идею, но неявно, скрыто, в глубинах души. Быть может, именно поэтому, когда он схватил карандаш и замер на миг перед листом чертежной бумаги, в голове его стало тесно от мыслей.

Он почти не уставал и работал без отдыха, начисто забыв о времени, и душа его парила высоко над землей, глаза ослепли для окружающего мира, а слух был обращен внутрь. Иногда перед рассветом, иногда только с первыми лучами солнца прилетал ангел сна и смежал его веки.

Однако вскоре или Перышко, или легкий ветерок с востока, или, чуть позже, колокола церкви святого Иосифа Купертинского поднимали его с кресла-качалки. Он приглаживал волосы, опять насыпал на тарелку канареечного семени, медленно, тщательно протирал очки — и снова склонялся над чертежом.

Он отказался от панциря и, таким образом, смог намного уменьшить количество ремней, пряжек и пружин. Однако новое было не в простом уменьшении или упрощении, а в конструкции целого — она была другой по своему существу. Теперь речь шла уже не о паре

крыльев, прикрепленных к кожаному наспиннику. Это тяжелое и неуклюжее устройство он заменил совершенно другим — единым крылом, гораздо большим, чем прежние. Оно опоясывало воздухоплателя как юбка, грудь и руки оказывались над крылом. Хвоста тоже не было, или, точнее, его заменили две небольшие плоскости, прикрепленные к заднему краю крыла, отчего оно стало похожим на поднос.

Каркас он решил на этот раз сделать из ясеня, обработав его предварительно, чтобы древесина стала эластичней, кипящими жирами и смолами. Сгибание и сушка дерева заняли довольно много времени, и все это время ему, сжигаемому все той же лихорадкой, приходилось искать себе занятия. За эти дни он скосил траву возле дома, достигавшую уже человеческого роста, приготовил клетки для Перышка и его друзей и кончил реставрировать двух гипсовых архангелов, охранявших большой алтарь приходской церкви.

Прошлым летом он починил святого Иоанна Крестителя, у которого отвалилась правая рука и был разбит нос, ангела с цитрой, стоящего над алтарем в церкви святой Люсии, край блюда, в котором лежат глаза святой, и два пальца на ее правой руке — отсутствие пальцев особенно бросалось в глаза, потому что у святой Люсии они обычно подняты в благословляющем жесте.

Работа над ангелами и тем более над архангелами, в общем, по понятным причинам, его увлекала, хотя отраженное в них представление о механизме полета противоречило законам физики.

В один прекрасный день, то ли по дороге из дому, то ли на пути к дому, он столкнулся на липовой аллее с маэстро Марселетти — тот, мрачный и сосредоточенный, быстро шел по бульвару. Увидев Аргимона, старик ринулся к нему с распростертыми объятиями; длинные пряди волос у него на затылке взлетали «*qual piuma al vento*»¹. Он крепко сжал Аргимона в объятиях и долго не выпускал, но, как всегда, казалось, что, даже обнимая, он думает о чем-то своем и что-то его тяготит — будто видеть мир ему мешает какое-то облако. Потом он взял Аргимона под руку, и они, разговаривая о чем-то отвлеченном красиво звучащими словами, прошли мимо «Японского бара». О полетах не было сказано ни слова, однако Аргимон ясно ощутил подспудный ток, текущий от одного к другому, — эту духовную связь и святое братство *in musica atque in aere*².

Перед церковью маэстро с ним распрощался, пообещав прислать новый номер «Расон католика», — там излагались результаты исследований падре Секки, изучавшего кольца Сатурна, и была заметка о гальванопластике.

¹ «Как пух по ветру» (ит.) — строка из арии герцога «Сердце красавицы» в опере Дж. Верди «Риголетто».

² Здесь: во всем (лат).

Когда деревянные детали были наконец готовы, Аргимон, в обществе Перышка, пары дроздов, красногрудки, горного жаворонка, капризной и суетливой сороки и то прилетающих, то улетающих лесных птиц, снова уединился на чердаке.

Изготовление новой модели из-за ее сложной и причудливой формы требовало некоторых технических ухищрений. Помимо нового соотношения частей в конструкции, требовавшего точнейшей их наладки, ее отличало также нечто более тонкое и на первый взгляд незаметное, и это-то и было подлинно и глубоко новым. В нескольких словах: идея, рождавшаяся у него в голове и искавшая выхода (сначала — слабый намек, потом — смутные контуры, далее — вид со стороны, объемность, и наконец — яркая вспышка, озарение), заключалась в том, чтобы посредством этой единственной в своем роде конструкции добиться большей скорости молекул воздуха над крылом — тогда, по закону сохранения энергии, должно увеличиться давление воздуха на крыло снизу. Иными словами, разность давлений должна неизбежным образом подтолкнуть устройство вверх, и этот толчок освободит его наконец от последнего земного балласта, последнего, что мешает ему парить в высоте. Это — в теории.

На практике же Аргимону пришлось для этого изготовить набор точно прокалиброванных шаблонов и потом по ним гнуть, скручивать и склеивать ясеневые палки, каждую минуту измеряя и проверяя то, что у него получается, кронциркулями, штангенциркулями и всевозможными другими измерительными инструментами.

Именно этим он и занимался, когда однажды после полудня из глубины патио до него явственно донесся какой-то шорох. Перышко прыгнул с подоконника на акацию. Аргимон высунулся в окно и посмотрел, но ничего не увидел. Однако почти тут же шорох послышался опять, и теперь стало ясно, откуда он исходит — из зарослей «ночной красавицы» возле забора. Аргимон высунулся снова и увидел: над изгородью, между темных листьев «ночной красавицы», торчат две мальчишеские головы.

Замерев, они уставились на него, а он на них.

Наконец он улыбнулся, хотя, быть может, первым сделать это следовало бы им. Потом он подышал на очки, протер их и снова принялся за работу.

Когда через час Аргимон высунулся в окно опять, он увидел не только головы, но и их обладателей. Мальчишки уже перелезли через забор и теперь, один сидя на заборе, а другой стоя около, смотрели во все глаза на его окно.

Аргимон сделал вид, будто их не заметил. Он насыпал на тарелку канареечного семени, и, мурлыча себе под нос, отошел от окна.

Только раз, незадолго до того, как стемнело, он украдкой глянул из-за двери. Но мальчишек уже не было.

На следующий день он увидел их по другую сторону дома — они стояли на улице, перед калиткой; а еще через два дня обнаружил их на ветках акации.

Ну, уж это было чересчур. Аргимон набрался духу и высунулся из окна спросить, какого черта им здесь нужно. Однако на самом деле он спросил сидящего справа:

— Тебя как зовут?

— Хосе.

— А, понятно — как святого Иосифа Купертинского... А тебя?

— Марсело.

— Марсело... Красивое имя. Марсело, Марселино, Марселито.

— Марсело.

— Хорошо. А можно мне узнать, что вы здесь делаете?

Хосе:

— Мы хотим увидеть, как ты летаешь.

Молчание, потом — Аргимон (протирая очки, с напускным удивлением):

— Откуда вы это взяли?

Марсело:

— Мы знаем точно.

Аргимон (не зная что сказать, потом смеясь принужденно):

— Ну, если вы знаете точно, то, конечно...

Хосе (показывая на крыло):

— Что это?

Аргимон (показывая на козлы):

— Это? Это... мм-м...

Хосе (снова показывая на крыло):

— Нет, вот это.

Аргимон (уже не показывая ни на что):

— Это? Симфонист.

Хосе:

— Нет, это крыло. И не говори больше глупостей.

Аргимон думал, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, им все это надоест. Однако и через две недели, когда уже пришло время обтягивать каркас тканью, мальчишки все так же сидели на акации и все так же серьезно и сосредоточенно наблюдали за каждым его движением. И он, наконец, капитулировал. Насыпая на тарелку очередную порцию канареечного семени, он сказал что-то по поводу погоды, птиц или акаций и неожиданно добавил, что они могут подняться на чердак, когда захотят.

Последние его слова канули в пустоту, он еще предостерегающе грозил пальцем, а двое мальчишек уже вихрем ворвались к нему на чердак.

Аргимон медленно повернулся, молча их оглядел, а потом, поправив очки, принялся зажигать лампу.

Вот так случилось, что начиная с этого дня в услужении у мастера полета Басилио Аргимона оказалось двое учеников, Хосе и Марсело, которые и взяли на себя простые, но нужные дела — убрали комнату, наливали чай, насыпали птицам канареечного семени, подавали инструменты, держали ведро с клеем или разворачивали эти странные затрепанные чертежи, в которые так часто заглядывал мастер.

В ноябре закончили обтяжку, а в день всех святых Аргимон впервые вынес крыло на открытый воздух.

Пришлось еще переставить на другое место одну из рулевых плоскостей и укрепить все стыки, но, как бы то ни было, к последним числам декабря аппарат был готов.

Из слов, которые ронял Аргимон, можно было заключить, что то или другое еще остается доделать, однако на самом деле все было закончено и оставалось только полететь.

И как-то ночью, перед самым рассветом, Аргимон погрузил новое крыло на самодельную тележку с колесами от сеялки, положил в мешок свой летный костюм и в предрассветном полумраке отправился на встречу с подвигом.

Он решил, что ни ученики его, ни маэстро Марселетти участвовать в испытании не будут. В одиночестве начал он свой путь, в одиночестве его закончит. Да и вообще присутствие зрителей не соответствовало бы истинной природе этого подвига — совершить его надлежало одному.

Он погасил фонарь, взглянул на дом и двинулся в путь.

Он решил, что испытание проведет на возвышенной местности на окраине городка — когда-то там был полигон, и до сих пор оставались брустверы и траншеи. Если идти через центр, попасть туда можно было за полчаса с небольшим, но Аргимон, по вполне понятным причинам, решил добираться круглым путем. Поэтому, дойдя до угла, он свернул в сторону и растворился в предрассветных сумерках.

На востоке ночь дала трещины, и сквозь них уже пробивался свет утра.

Последние городские дома, деревья на опушке леса, казалось, невесомо парили над землей, плоские и лишенные тени.

По одну сторону от него была ночь, по другую день, и оттого, что он между ними, Аргимон испытывал странное удовольствие, тихую и безмятежную радость.

На крыльях этой радости он и спешил широким и решительным шагом, когда вдруг в конце улицы увидел перед собой две достаточно знакомые ему фигуры.

Тележка заскрипела. Аргимон остановился как вкопанный. Мастер и ученики смотрели друг на друга настороженно и хмуро.

Это было насилие, оскорбление — он снял и протер очки — даже в каком-то смысле нападение на него. Ничего этого он, конечно, не

сказал, но достаточно было уже того, что он это подумал. Марсело как будто был растерян — правда, может быть, просто потому, что еще не проснулся по-настоящему. А вот у Хосе вид был суровый и даже вызывающий. Это уж слишком! Так он им и сказал, хотя и без особого негодования:

— Это уж слишком!

— Ты нас бросил,— сказал Хосе.

Воцарилось глубокое молчание.

В этом молчании они пребывали до тех пор, пока крыло не зашевелил налетевший порыв ветра, и тогда все три головы, как по сигналу, повернулись к востоку. Вслед за этим мастер приглашающим движением руки показал на тележку, ученики ухватились за ее дышло, и все втроем они зашагали навстречу рассвету.

До полигона они добрались, когда уже рассвело. Ветер ровно дул, во всю силу ударяя в брустверы, с востока.

Аргимон начал с того, что воткнул в землю шест с привязанным к верхнему концу воздушным шариком. Затем вынул из мешка летный костюм и отработанными движениями стал его надевать.

Сперва он облачился в комбинезон и закрепил штанины на лодыжках и рукава на запястьях какими-то резинками. Потом надел и закрепил очки, на этот раз без заушников — их заменили теперь два шнурка от ботинок. На это ушло довольно много времени. Наконец, сев на землю, он надел пару наколенников и, снова поднявшись на ноги, кожаный шлем с пробковыми прокладками.

Так снарядившись, он несколько раз согнул и разогнул в суставах руки и ноги и повертел головой, проверяя, все ли в порядке.

В это время зазвонили к утренней мессе колокола святого Иосифа Купертинского. Звон был едва слышен, потому что они находились теперь на месте более высоком, чем колокольня, и к тому же ветер, дувший в сторону собора, относил звук на запад.

Аргимон выбрал второй бруствер, потому что у него был ровнее верх, да и сама насыпь была, пожалуй, длиннее. Перед тем, как надеть на себя крыло, он взобрался с воздушным шариком в руке наверх, чтобы определить точное направление и силу ветра. Это заняло у него довольно много времени, и, казалось, он всматривается в нечто, доступное только его взгляду.

Спустившись вниз, он разбежался и снова поднялся на насыпь, уже бегом. Он бежал большими скачками, широко разведя руки в стороны, будто поддерживая пару невидимых крыльев. Мальчишек это привело в восторг.

Когда Аргимон спустился с насыпи снова, он был, судя по всему, доволен. Он ничего не сказал, однако улыбнулся обоим мальчишкам и потрепал их по голове.

Теперь дошла очередь до крыла. Очень осторожно они сняли его с тележки и положили на землю. Аргимон влез в широкое отверстие посредине, и мальчишки, взяв крыло за концы, начали поднимать его и подняли наконец на высоту груди Аргимона. Потом, следуя указаниям мастера, они помогли ему застегнуть все ремни и пряжки.

Когда с этим было покончено, Аргимон, который стал теперь похож на настоящую птицу, несколько раз, чтобы проверить, хорошо ли все закреплено, подпрыгнул и согнул в суставах руки и ноги. А затем — последняя проверка — большими и упругими прыжками он понесся по кругу. В один из поворотов они увидели, что он улыбается. Он был еще на земле, но уже ощущал напор воздуха, легкость крыла, мягкое подталкивание в высоту.

Миг наступил. Аргимон стоял около насыпи и, не отрывая взгляда, следил за воздушным шариком. Обернувшись, он улыбнулся мальчишкам. Потом устремил взгляд в небо и побежал. Мальчишки бросились за ним следом. Они бежали по склону насыпи вверх и кричали. Огромная птица прыжками двигалась впереди, подгоняемая ветром. Они слышали, как качается и вибрирует крыло, и слышали шаги Аргимона, которые становились все длиннее.

Наконец, Аргимон, подавляя дрожь, бросился в пустоту.

Сперва, поднимаясь вверх, он описал полукружие. Потом, после мгновения неподвижности, когда казалось, что вот-вот низвергнется вниз, он, преодолев легкое качание, нырнул в одно из воздушных течений. И поднялся ввысь. Медленно и величественно Басилио Аргимон поднялся ввысь и понесся по невидимым волнам к востоку.

Они кричали ему с насыпи и махали руками, но последовать за ним они не могли. Наконец огромная птица взмахнула крыльями, мягко повернулась и, подчиняясь ветру, проплыла высоко над их головами.

— Аргимон, Аргимон! — кричали они, гоняясь за скользящей по земле тенью.

Басилио Аргимон слышал только гудение ветра.

Новость пробежала по городку мгновенно, словно искра по пороховому шнуру. Свидетелями полета оказались не только двое мальчишек. Его видели также какие-то крестьянин и коммивояжер и, что, пожалуй, было важнее всего, сам доктор Сан-Роман; он возвращался от больного домой в двуколке и наблюдал полет прямо с дороги, размахивая бичом и жуя сигару.

Аргимон приземлился на пустыре за своим домом, так что, когда туда прибежало полгорода, он успел уже снять с себя крыло и появился в дверях такой же незначительный, как обычно.

Казалось, маэстро Марселетти вот-вот взорвется от восторга. В шляпе, жилете и пелерине, с тростью в руке, он возглавил шумное

шествие от оркестрового помоста на площади до самого дома Аргимона. Шествие это, вполне естественно, проследовало мимо «Японского бара», за окнами которого смутно маячили чьи-то лица. Короче говоря, это был день триумфа.

Когда прошла неделя и поутихли первые восторги, компания Планкита перешла в наступление: поверить крестьянину, так он видел не только летящего человека, но и души грешников, терзаемые в аду, привидения и огоньки на болотах; свидетель-коммивояжер куда-то исчез; на мальчишек, не говоря уже о том, что они сопляки, влияет Аргимон. Итак, крепко держится на ногах только доктор, но и то, так сказать, в переносном смысле, потому что в прямом не раз бывало, что удержаться на своих конечностях он не мог. Конечностях, разумеется, нижних — витиеватость стиля и тяжеловесность иронии выдавали Планкита.

Маэстро Марселетти контратаковал сжато и энергично. Он предлагал, чтобы двенадцатого января, в годовщину просветительского общества, житель городка Басилио Аргимон совершил испытательный полет, прыгнув с крыши мельницы в присутствии как священника, мэра и полицейского инспектора, так и прочих уважаемых и заслуживающих доверия прихожан.

Были сомнения, споры и, наконец, стали заключаться пари. Сеньор Атилио Марони обязался увековечить событие на фотографической пластинке, использовав для этого аппарат самой новой модели.

Аргимон, который, пока еще это происходило вокруг него, не произнес ни слова и ни разу не спустился со своего чердака, где был занят теперь усовершенствованием рулевого устройства, сказал, наконец, что назначить для полета точную дату нельзя — все зависит от того, какая будет погода и особенно ветер.

Он очень похудел, пожелтел и сейчас, разговаривая, мелким шрифтом записывал что-то на висящем на стене чертеже.

Планкит потер руки и, задыхаясь от ярости, закричал, что это просто отговорка.

Побывав несколько раз у Аргимона, маэстро Марселетти, снова оказавшийся в одиночестве, объявил, уже не так восторженно, что произойдет это до или после двенадцатого января (не так уж важно, когда именно), но Басилио Аргимон поднимется на мельницу и оттуда полетит на небо. Если нужно, он, маэстро Марселетти, может даже в этом поклясться.

Прошло не только двенадцатое января, прошло еще несколько месяцев, а Басилио Аргимон не подавал признаков жизни.

Половина людей в городке уже успела о нем забыть, когда в один прекрасный день (а точнее, в праздник святого Бенито Лабре, в третье воскресенье апреля) до компании болтунов, сидевших в «Японском

баре., донесся с улицы какой-то шум, и вскоре их глазам представился фантастический персонаж в черном комбинезоне, паре наколенников и кожаном шлеме.

Бледный от гнева, Планкит вскочил на ноги:

— Аргимон!

И правда, это был Аргимон, хотя нужно было взглядеться, чтобы узнать его. Позади него, на повозке, которую за ним везли, лежало то самое, похожее на бочонок и на крыло, о чем большинство жителей городка знало только понаслышке.

Старший из мальчиков тянул за дышло тележку, а другой нес воздушный шарик, привязанный к суровой нитке. День настал!

Сеньор Атилио Марони побежал за фотоаппаратом, а маэстро Марселетти нагнал всех, когда они уже подходили к мельнице напротив гостиницы «Унион».

Сначала на крышу подняли крыло. Потом туда взобрались оба мальчика, и наконец Аргимон. Маэстро Марселетти потребовал, чтобы ему дали подняться тоже, но Аргимону и священнику кое-как удалось уговорить его отказаться от своего намерения.

На крыше Аргимон поднял руку с шариком на нитке вверх — проверить ветер. Ветер, довольно сильный, дул порывами. Он бы предпочел ветер менее сильный, зато более ровный и постоянный.

Аргимон попробовал пробежать от середины крыши до ее края.

Между тем толпа на тротуаре перед гостиницей все росла и теперь с недобрым любопытством наблюдала за каждым его движением.

Аргимон, остановившись после первой пробежки у края крыши, тоже посмотрел на толпу.

По существу, он сейчас впервые заметил их, крошечных, копошащихся как муравьи.

Они в него не верили. Они верили в Планкита. Где-то в глубине души он не раз мечтал об этом мгновении: последнее восхождение, толпа, полет. Но теперь, когда это вот-вот должно было совершиться и в каком-то смысле уже совершилось, чего он этим достиг? Ничего — лишь окончательно убедился, что он одинок. Вверх, выше, еще выше, все выше и выше... Вот его путь, узкая тропа, и идет он по ней один.

Он проверил, хорошо ли закрепил очки, и попробовал разбежаться снова — место было очень мало, а ему хотелось рассчитать прыжок как можно точнее.

Когда в этот, второй раз он, остановившись у самого края, глянул вниз, у толпы вырвался протяжный, дрожащий крик, похожий на блеяние и достигший крыши мельницы уже тогда, когда Аргимон отвернулся.

Он перегнулся через край снова и махнул им рукой.

Марсело и Хосе держали наготове сотрясаемое ветром крыло.

Наконец Аргимон стал в отверстие посередине, а они подняли крыло и застегнули ремни и пряжки. Затем, как и перед прошлым

полетом, мастер совершил подготовительные приседания и прыжки. Из-за недостатка места пришлось заменить бег по кругу короткой пробежкой к середине крыши. Так или иначе все было в порядке, и мастер стал у дальнего края крыши, готовый к полету.

Хосе, как было условлено, махнул платком, и тогда сеньор Марони быстро нацелил свой фотоаппарат, а хозяин «Английского магазина» взорвал хлопушку. Все умолкли. Прыжок, еще прыжок и еще. Не достигнув края, Аргимон уже был в воздухе.

Вначале, как всегда, его качнуло в одну сторону, потом в другую, а потом он замер на миг, повис неподвижно. Но в то самое мгновение, когда с улицы до него снова донесся крик, Аргимон, внезапно подхваченный порывом ветра, взмыл в высоту.

Люди увидели пляшущий на ветру кусок материи и бешено колотящие по воздуху ноги.

Потом, войдя в штопор, человек-птица рухнул вниз и вдребезги разбился о плоскую крышу гостиницы «Унион».

Хулио КОРТАСАР

МАЛЕНЬКИЙ РАЙ

Формы счастья очень разнообразны, и не следует удивляться, что жители страны, которой правит генерал Орангу, счастливы с того дня, когда в их кровь попадают золотые рыбки.

Строго говоря, рыбки эти не золотые, а всего лишь золотистые, но достаточно увидеть, как они сверкают, резвясь, и у тебя появляется неодолимое желание их иметь. Правительство сразу это поняло, когда некий натуралист поймал первых рыбок и они стали быстро размножаться в благоприятной среде. Известная специалистам как Z-8, золотая рыбка необычно мала, настолько, что если представить себе курицу величиной с муху, то золотая рыбка будет величиной с такую курицу. Поэтому, когда жителю страны исполнится восемнадцать лет, не составляет никакого труда ввести ему рыбок в кровь; указанный возраст и процедура введения определены законом.

Таким образом, все юноши и девушки с нетерпением ждут дня, когда их допустят в один из специальных медицинских центров; они приходят туда в сопровождении семьи. К вене руки присоединяют трубку, она является частью прозрачного сосуда, наполненного физиологическим раствором, куда потом пускают двадцать золотых рыбок. Облагодетельствованный и его семья имеют возможность всласть налюбоваться играми золотых рыбок в сосудах, пока те одна за другой, уже неподвижные и словно бы испуганные, крошечными

брызгами света уходят в вену. За полчаса гражданин получает полный комплект золотых рыбок, а потом он удаляется, чтобы торжественно отпраздновать обретение им счастья.

Если присмотреться повнимательнее, выяснится, что счастливы жители страны более благодаря работе своего воображения, нежели благодаря прямому соприкосновению с действительностью. Хотя увидеть золотых рыбок после введения их внутрь уже невозможно, каждый знает, что они непрерывно обегают все огромное дерево вен и артерий, и любому в последние минуты перед сном кажется, что в чаше его сомкнутых век появляются и исчезают эти сверкающие искорки, так выделяющиеся своим блеском на красном фоне рек и ручейков, по которым они движутся. Особое волнение вызывает всегда мысль о том, что двадцать золотых рыбок сразу же начинают размножаться, и потому житель страны представляет их себе, бесчисленных и сверкающих, во все частях своего тела: как они скользят в голове, как приплывают в кончики пальцев, как скапливаются в больших бедренных артериях, в яремной вене, или как, с их невероятной ловкостью, проникают в самые укромные уголки тела. Наибольшую радость внутреннему зору доставляет образ периодического прохождения золотых рыбок сквозь сердце, потому что там наверняка есть крутые горки, озера и стремнины, удобные для их игр и общения друг с другом; и, конечно, именно в этом большом и шумном порту золотые рыбки знакомятся, выбирают себе пару и соединяют с ней свою судьбу. Когда юноша или девушка влюбляются, они всегда убеждены, что и в сердце у него (или у нее) какая-нибудь золотая рыбка нашла себе пару. Даже некоторые напоминающие щекотку ощущения все объясняют спариванием золотых рыбок в соответствующих местах. Главные жизненные ритмы снаружи совпадают с таковыми же внутри — разве можно представить себе счастье, исполненное большей гармонией?

Картину омрачает только то обстоятельство, что время от времени какая-нибудь из золотых рыбок умирает. Хотя живут они подолгу, наступает, однако, день, когда одна из них гибнет, и тело ее, увлекаемое движением крови, в конце концов закупоривает переход из артерии в вену или из вены в какой-нибудь сосуд. Жителям страны хорошо известны симптомы, очень, вообще говоря, простые: становится трудно дышать, а иногда также кружится голова. Если такое происходит, сразу достают ампулу для инъекции — их специально держат дома на этот случай. Под действием содержимого ампулы мертвая рыбка за считанные минуты рассасывается, и кровообращение снова становится нормальным. Каждому официально разрешено использовать три ампулы в месяц, учитывая, что золотые рыбки размножаются очень быстро и количество смертей их со временем увеличивается.

Правительство генерала Орангу установило стоимость ампулы в двадцать долларов, что в течение года по стране дает доход в несколько миллионов; если иностранные наблюдатели рассматривают это как тяжелый налог, то жители страны воспринимают все совершенно иначе, потому что каждая ампула возвращает им счастье, а платить за счастье вполне справедливо. Когда речь идет о семьях без средств, что бывает очень часто, правительство предоставляет возможность приобретать ампулы в кредит, взимая при окончательном расчете двойную стоимость, что вполне логично. Если и при таких благоприятных условиях кто-то останется без ампул, он может обратиться к преуспевающему черному рынку, которому правительство, понимая нужды людей и желая им помочь, позволяет процветать для блага народа и нескольких полковников. Какое значение в конце концов имеет нищета, когда известно, что у каждого есть золотые рыбки, и золотых рыбок будут получать одно за другим все новые и новые поколения, и снова и снова будут праздники, будут танцы, будут песни!

Луис БРИТТО ГАРСИА

МОНОПОЛИЯ МОД

А сейчас сядь и отдохни. Через секунду войдет продавец и объяснит тебе, что твой телевизор вышел из моды и ты обязательно должен купить аппарат новой модели. За несколько минут ты договоришься с ним о кредите, добьешься, чтобы твой старый телевизор приняли в счет десяти процентов стоимости нового, и скажешь себе, что в самом деле попользовался утро — и хватит. Включив новый телевизор, ты обнаружишь, что моды полудня уже уступили место модам двух часов дня, и что если ты выйдешь на улицу в одном из своих старых, моды часа двадцати пяти минут пополудни галстуков, тебя встретит град оскорблений. Чтобы этого избежать, но все-таки договориться о новом кредите, ты вынужден будешь позвонить в магазин и попытаешься в качестве гарантии платежеспособности предложить свою машину. Компьютер магазина установит, что машина твоя вчерашней модели и потому в качестве гарантии не годится. Тогда тебе остается только позвонить директору магазина и спросить о новых, сегодняшнего утра моделях. Директор спросит тебя, почему ты звонишь, пользуясь устаревшим телефонным аппаратом, и ты ответишь ему: да, это так, но ведь ты уже полчаса как не имеешь возможности выйти на улицу и потому не можешь сменить мебель. Тебе только и остается, что позвонить в Департамент Кредита, который согласится принять вышедшую из моды мебель в счет одного процента стоимости новой,

при условии, что ты письменно обязуешься взять на таких же условиях в два часа пополудни новую мебель, на выбор, моделей десяти часов, одиннадцати, двенадцати, часа, двух или половины четвертого — мебель этого часа самая модная из всех и потому вдвое дороже любого другого гарнитура, хотя вполне стоит затраченных на нее денег. Ты быстро сообщаешь, что успеешь позвонить и добиться, чтобы пришли и заменили холодильник и морозильник, но проклятый устарелый телефон не работает, и квартира с каждой минутой становится все негостеприимней и сумрачней. Ты понимаешь, наконец, что происходит это из-за неудержимой смены стилей, и постепенно паника берет над тобою верх, и что толку, что в лихорадочной спешке ты срываешь с себя старый галстук и сжигаешь старые, вчерашние, одежду и мебель и другие уже старые вещи, купленные сегодня час назад, но даже пепел источает их непоправимую устарелость, источает ужас, от которого ты спасаешься только, когда в четыре часа дня вернутся домой твои жена и дети, нагруженные новой одеждой и новыми игрушками, а за ними следом новый автомобиль, новый телефонный аппарат, новая мебель, новый телевизор, новый кухонный гарнитур, гарантии на все действительно до пяти часов дня, и новый инспектор со слезящимися глазами, который, проскользнув к тебе в квартиру, разрывает твою кредитную карточку и сообщает, что ты задолжал свое жалованье за сто лет вперед и отправишься сейчас на бессрочные принудительные работы в подземельях Монополии Мод.

РЕКЛАМА

Итак, однажды вечером ты приходишь домой, включаешь телевизор, и диктор с экрана объявляет, что владельцы телевидения решили отменить отныне все программы и передавать вместо них исключительно рекламу.

Итак, ты выходишь из оцепенения, берешь газету и обнаруживаешь передовицу, где сообщается, что владельцы газеты решили убрать из нее все статьи, заметки и комиксы и заменить их одной рекламой. Перед тем как бросить газету в мусор, ты заглядываешь в анонсы театров и кино в ней и обнаруживаешь, что владельцы тех и других решили заменить фильмы и спектакли рекламой.

Итак, спасаясь от выхолащенной газеты и угрожающе пустого экрана, ты выходишь на улицу и обнаруживаешь, что во всем городе стены, двери, бульвары, крыши, скамейки, столбы, улицы, дома, грузовики, магазины, люди скрыты под рекламой.

Итак, тем пространством, в котором ты раньше видел деревья, моря, горы, облака, лица женщин, отражение своих зубов в зеркале, свой разинутый в одышке рот, воспользовались огромные проекторы и заполнили его все, от начала до конца, рекламой.

Итак, ты закрываешь глаза и обнаруживаешь, что и в это доселе неприкосновенное убежище, огражденное стеной мрака, проникают сквозь веки лучи проекторов, направленных на сетчатку твоих глаз, и эти проекторы заменяют перепутанные образы твоей фантазии рекламой.

Итак, ты вслушиваешься и обнаруживаешь, что шум дождя, голоса детей, шуршание термитов, звуки клавикордов, грохот волн, вязь ругательств, стук сердца заменены рекламой.

Итак, ты затыкаешь уши и обнаруживаешь, что это неизвестно откуда пришедшее молчание, в котором слились воедино рокот неведомых морей и гул мистических раковин, взяли штурмом излучатели ультразвуковых волн и непрерывно населяют его рекламой.

Итак, ты ищешь способ отключить сознание и обнаруживаешь, что твое подсознание заменено при помощи сублиминальных методов рекламой. Итак, ты начинаешь прикасаться к предметам и обнаруживаешь, что их уже не существует, а существует только реклама. Итак, ты делаешь попытку бежать в воспоминания и обнаруживаешь, что рекламодатели вторглись также и в прошлое и наводнили все его злоулки рекламой.

Итак, ты бросаешься в пустоту и падаешь сквозь почему-то вязкий воздух, и когда тебе кажется, что еще миг, и ты разобьешься об огромное рекламное объявление, ты обнаруживаешь, что речь в этом объявлении идет о новейших погребальных урнах с телеэкранами и громкоговорителями, эти урны переходят последнюю черту и отдают час твоей смерти и безмерность небытия во власть рекламы.

СТРАШИЛИЩЕ

Пойманный, как в ловушку, в искривлении времени, урфаль начал судорожно искать среди бесчисленного множества своих обличий такое, какое наилучшим образом соответствовало бы изменившимся условиям, потом перестроил свои инерционные структуры и, войдя в обычное пространство, обнаружил, что находится в какой-то планетной системе, неподалеку от одной из ее планет. Будь они прокляты, эти искривления времени! Путешествуешь себе спокойно, вдруг — ловушка. Летишь кувырком. И попадаешь неизвестно куда.

Чувствуя себя крайне неудобно, встревоженный урфаль выпустил наружу десятки новых конечностей, облек свое тело в надежную кристаллическую броню и приготовился к тому, что его выбросит на какой-нибудь неприветливый берег в буйных морях обычного пространства — скажем, на эту огромную планету, которая приближается к нему, дыша ночами и цивилизациями. Придется трещать и гореть в ее атмосфере. Трещать и гореть.

Золотой искоркой для тех, кто видел его падение, урфаль упал в сад

возле какого-то дома. Изнемогая от усталости, проник в здание и десятками своих чувств исследовал его внутри. Что-то было не так. В здании находилось много разных, не похожих один на другой предметов, но невозможно было понять, зачем они. Конструкции, лишённые смысла. Заведомо бесполезные изделия. Ни для чего не пригодные инструменты. От этой цивилизации с ее непонятными проявлениями нужно было защищаться, и урфаль создал у себя органы, вид которых, как он надеялся, испугает носителей этой цивилизации. Вскоре урфаль почувствовал, что приближается местный житель. Страдая от недостатка информации о культуре и технике этих существ, не зная, как ему быть, урфаль обратился к последнему доступному ему средству самозащиты — к миметической неподвижности.

Появился житель планеты и провел лучом света по урфалю и непонятым предметом вокруг него. Потом луч погас, и житель планеты двинулся дальше, в другие помещения.

И урфаль решил, что останется в состоянии миметической неподвижности до тех пор, пока конфигурация времени, по волнам которого он путешествовал, не станет более благоприятной.

Потом на планете наступило утро, и по комнатам здания, поглядывая на списки у них в руках и обмениваясь впечатлениями, пошли посетители. Их было много, и все они внимательно рассматривали предметы, размещенные в зале, включая урфалья.

Когда в помещении остался только один посетитель, урфаль изменил некоторые из своих роговых наростов, превратив их в хватательные органы, и эти последние, обвив посетителя, молниеносно втолкнули его в урфалья. «Белки, кальций», — с удовлетворением констатировал урфаль и решил, что будет повторять эту процедуру до тех пор, пока не возместит хотя бы частично тот ущерб, который нанесла его организму катастрофа.

Планета сто раз повернулась вокруг своей оси, а урфаль в это время заглатывал и спал, спал и заглатывал, и на нем, никого почему-то не удивляя, беспорядочно разрастались наружные органы, перепончатые, мягкие и формой похожие на фестоны.

Но однажды появилось сразу очень много местных жителей, и они стали необычайно внимательно рассматривать непонятные предметы в помещении, где был урфаль. Под конец они остановились перед урфалем и приставили к нему острый бронзовый гвоздь и ударили по гвоздю молотком.

И тогда урфаль прыгнул. Водоворот струящихся органов. Вихрь силовых полей и аномальных состояний пространства. Урфаль прыгнул на председателя жюри, прыгнул на вопящую покровительницу искусств, на другую, третью, прыгнул на сторожей, на уважаемую публику; огненным колесом выкатился наружу и, завывая как перепуганный щенок, стремительно поднялся в небо, между тем как на

его — назовем ее так — спине блестела, фосфоресцируя от все усиливающейся радиации, табличка с надписью: «Первая премия по разряду современной скульптуры».

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

ИСКУССТВЕННЫЕ РОЗЫ

В предрассветных сумерках Мина нашла на ощупь платье без рукавов, которое повесила вечером около кровати, надела его и перевернула весь сундук, разыскивая фальшивые рукава. Не найдя, она стала искать их на гвоздях, вбитых в стены и в двери, стараясь при этом не разбудить слепую бабу, спавшую в той же комнате. Но когда глаза Мины привыкли к темноте, она обнаружила, что бабки на постели нет, и пошла в кухню — спросить ее про рукава.

— Они в ванне, — ответила слепая. — Вчера вечером я их выстирала.

Там они и висели на проволоке, закрепленные двумя деревянными зажимками. Они еще не высохли. Мина сняла их, вернулась с ними в кухню и расстелила их на краю печки. Возле нее слепая помешивала кофе в котелке, уставившись мертвыми зрачками на кирпичный карниз вдоль стены коридора, который вел в патио; на карнизе стояли в ряд цветочные горшки с целебными травами.

— Не трогай больше мои вещи, — сказала Мина. — Рассчитывать на солнце сейчас не приходится.

— Совсем забыла, ведь сегодня страстная пятница.

Втянув носом воздух и убедившись, что кофе уже готов, слепая сняла котелок с огня.

— Подстели под рукава бумагу, камни грязные, — посоветовала она.

Мина потерла камни пальцем. Они и вправду были грязные, но сажа, покрывавшая их, затвердела и испачкала бы рукава только в том случае, если бы камни ими потеряли.

— Если испачкаются, виновата будешь ты, — сказала Мина.

Слепая уже налила себе чашку кофе.

— Ты злишься, — ответила она, волоча в коридор стул. — Это кощунство — причащаться, когда злишься.

Она села со своим кофе около роз патио. Когда в третий раз прозвонили к мессе, Мина сняла рукава с печки. Они были еще влажные, но все равно она их надела. В платье с открытыми руками падре Анхель отказался бы ее причастать. Она не умылась, только стерла с лица мокрым полотенцем остаток вчерашних румян, потом зашла в комнату за мантилей и молитвенником и вышла на улицу. Через четверть часа она вернулась.

— Попадешь в церковь, когда уже кончат читать евангелие,— сказала слепая; она все еще сидела возле роз патио.

— Не могу я туда идти,— направляясь в уборную, сказала Мина.— Рукава сырые, и платье неглаженое.

У нее было чувство, будто на нее смотрит всевидящее око.

— Сегодня страстная пятница, а ты не идешь к мессе.

Вернувшись из уборной, Мина налила себе кофе и села около слепой, прислонившись к побеленному косяку. Но пить она не смогла.

— Это ты виновата,— прошептала она с глухим ожесточением, чувствуя, что ее душат слезы.

— Да ты плачешь! — воскликнула слепая.

Она поставила лейку, которую держала в руке, у горшков с майораном и вышла в патио, повторяя:

— Ты плачешь! Ты плачешь!

Мина поставила чашку на пол, потом ей кое-как удалось собой овладеть.

— Я плачу от злости.

И, проходя мимо бабки, добавила:

— Тебе придется исповедаться, ведь это из-за тебя я не причастилась в страстную пятницу.

Слепая, не двигаясь, ждала, чтобы Мина закрыла за собой дверь спальни; потом пошла в конец коридора, наклонилась, вытянув вперед пальцы, пошарила и наконец нашла не пригубленную даже чашку Мины. Выливая кофе в помойное ведро, она сказала:

— Бог свидетель, у меня совесть чиста.

Из спальни вышла мать Мины.

— С кем ты разговариваешь? — спросила она.

— Ни с кем,— ответила слепая.— Я ведь уже говорила тебе, что теряю разум.

Запершись в комнате, Мина расстегнула корсаж и достала с груди три маленьких ключика, надетые на булавку. Одним из них она открыла нижний ящик комода и, вынув оттуда небольшой деревянный ларец, открыла его другим ключом. Внутри лежала пачка писем на цветной бумаге, стянутая резинкой. Она засунула их за корсаж, поставила ларчик на место и снова заперла ящик комода. Потом она пошла в уборную и бросила письма в яму.

— Ты собиралась к мессе,— сказала ей мать.

— Она не может пойти,— вмешалась в разговор слепая.— Я забыла, что сегодня страстная пятница, и вчера вечером выстирала рукава.

— Они еще не высохли,— пробормотала Мина.

— Ей пришлось много работать эти дни,— продолжала слепая.

— Мне нужно сдать на пасху сто пятьдесят дюжин роз,— сказала Мина.

Хотя было рано, солнце уже начало припекать. К семи утра

большая комната уже превратилась в мастерскую по изготовлению искусственных роз: появились корзина с лепестками и проволокой, большая коробка гофрированной бумаги, две пары ножниц, моток ниток и пузырек клея. Почти сразу же пришла Тринидад с картонной коробкой под мышкой; она хотела узнать, почему Мина не ходила к мессе.

— У меня не было рукавов,— ответила Мина.

— Да тебе бы кто хочешь их одолжил,— сказала Тринидад.

Она пододвинула стул и села около корзины с лепестками.

— Когда догадалась, было уже поздно,— сказала Мина.

Она сделала розу, потом подошла к корзине закрутить ножницами лепестки. Тринидад поставила картонную коробку на пол и тоже принялась за работу.

Мина посмотрела на коробку.

— Купила туфли?

— В ней мертвые мыши,— ответила Тринидад.

Тринидад закручивала лепестки лучше, и Мина стала обвертывать куски проволоки зеленой бумагой — делать стебли. Они работали молча, не обращая внимания на солнце, наступавшее на комнату, где на стенах висели идилические картины и семейные фотографии. Кончив делать стебли, Мина повернула к Тринидад свое лицо, казавшееся каким-то невещественным. Движения у Тринидад, едва шевелившей кончиками пальцев, были удивительно точные; сидела она, сомкнув ноги. Мина посмотрела на ее мужские туфли. Не поднимая головы, Тринидад почувствовала ее взгляд, убрала ноги дальше под стул и перестала работать.

— Что такое? — спросила она.

Мина наклонилась к ней совсем близко.

— Он уехал.

Ножницы из рук Тринидад упали к ней на колени.

— Не может быть!

— Да, уехал,— повторила Мина.

Тринидад не мигая на нее уставилась. Между ее сдвинутыми бровями пролегла вертикальная морщина.

— И что теперь?

Когда Мина ответила, ее голос звучал ровно и твердо:

— Теперь? Ничего.

Тринидад стала прощаться с ней около десяти. Освободившаяся от бремени своих тайн, Мина ей напомнила, что надо бросить мертвых мышей в уборную. Слепая подрезала розовый куст.

— Не догадаешься, что у меня здесь в коробке,— сказала, проходя мимо нее, Мина.

Она потрясла коробку. Слепая прислушалась.

— Тряхни еще раз.

Мина потряхнула во второй раз, но и после третьего, когда слепая

слушала, оттянув указательным пальцем мочку уха, она так и не смогла сказать, что в коробке.

— Это мыши, которых за ночь поймали ловушками в церкви,— сказала Мина.

На обратном пути она прошла мимо слепой молча. Однако слепая двинулась за ней следом. Когда бабка вошла в большую комнату, Мина, сидя у закрытого окна, заканчивала розу.

— Мина,— сказала слепая,— если хочешь быть счастливой, никогда не поверяй свои тайны чужим людям.

Мина на нее посмотрела, слепая села напротив и хотела тоже начать работать, но Мина ей не дала.

— Нервничаешь,— заметила слепая.

— По твоей вине.

— Почему ты не пошла к мессе?

— Сама знаешь почему.

— Будь это вправду из-за рукавов, ты бы и из дому не вышла,— сказала слепая.— Ты пошла, потому что тебя кто-то ждал, и он тебе сделал что-то неприятное.

Мина, словно смахивая пыль с невидимого стекла, провела руками перед глазами слепой.

— Ты ясновидица,— сказала она.

— Сегодня утром ты была в уборной два раза,— сказала слепая.— А ведь больше одного раза ты не ходишь по утрам никогда.

Мина продолжала работать.

— Можешь ты показать мне, что у тебя в нижнем ящике шкафа? — спросила слепая.

Мина не спеша воткнула розу в оконную раму, достала из-за корсажа три ключика, положила в руку слепой и сама сжала ей пальцы в кулак.

— Посмотри собственными глазами,— сказала она.

Кончиками пальцев слепая ощупала ключи.

— Мои глаза не могут увидеть то, что лежит на дне выгребной ямы.

Мина подняла голову. Сейчас ей казалось, будто слепая знает, что она на нее смотрит.

— А ты поезжай туда, если тебя так интересуют мои вещи.

Однако задеть слепую ей не удалось.

— Каждый день ты пишешь в постели до зари,— сказала бабка.

— Но ведь ты сама гасишь свет.

— И сразу ты зажигаешь карманный фонарик. А потом, слушая твое дыхание, я могу даже сказать, о чем ты пишешь.

Мина сделала над собой усилие, чтобы не вспылить.

— Хорошо,— сказала она, не поднимая головы,— допустим, что это правда; что здесь такого?

— Ничего,— ответила слепая.— Только то, что из-за этого ты не причастилась в страстную пятницу.

Мина сгребла нитки, ножницы и недоконченные цветы в одну кучу, сложила все в корзину и повернулась к слепой.

— Так ты хочешь, чтобы я сказала тебе, зачем ходила в уборную? — спросила она.

Наступило напряженное молчание, и наконец Мина сказала:

— Какать.

Слепая бросила ей в корзину ключи.

— Могло бы сойти за правду, — пробормотала она, направляясь в кухню. — Да, можно было бы поверить, если бы хоть раз до этого я слышала от тебя вульгарность.

Навстречу бабке с противоположного конца коридора шла мать Мины с большой охапкой усеянных колючками веток.

— Что произошло? — спросила она.

— Да просто я потеряла разум, — ответила слепая. — Но, видно, пока я не начну бросаться камнями, в богадельню меня все равно не отправят.

БЛАКАМАН-ДОБРЫЙ, ПРОДАВЕЦ ЧУДЕС

В то воскресенье, когда я его увидел в первый раз с его простроченными золотой мишурой бархатными подтяжками, с цветными камешками на всех пальцах и с косой, куда вплетены бубенчики, я принял его за жалкого циркового униформиста, взбравшегося на стол, было это в порту Санта-Мария-дель-Дарьен, стол был заставлен пузырьками лекарств от разных недугов и завален успокаивающими травами, все он сам готовил и продавал, надтреснутым громким голосом расхваливая свой товар, в городках Карибского побережья, но только в тот раз никакого индейского дерьма он еще не предлагал, а просил, чтобы ему принесли настоящую ядовитую змею, тогда он продемонстрирует на себе, как действует им самим найденное противоядие, единственное абсолютно надежное, дамы и господа, от укусов змей, тарантулов, сколопендр и других ядовитых млекопитающих. Кто-то, на кого, похоже, его вера в свое противоядие произвела сильное впечатление, сходил куда-то и принес в бутылке мапану¹ из самых худших, из тех, от укуса которых жертва сразу же начинает задыхаться, и он схватил бутылку с такой жадностью, что все мы подумали, будто эту змейку он сейчас съест, но она, едва почувствовав, что свободна, вмиг выскочила из бутылки и укусила его в шею, и он, задыхаясь, уже не мог говорить, и только успел принять свое противо-

¹ Мапанá — черно-желтая ядовитая змея, обитает в странах к югу от Карибского моря.

ядие, как стол, заставленный дрянью, опрокинулся под напором толпы, и огромное тело осталось, свалившись с него, лежать на земле, и казалось, что внутри оно совсем пустое, но он всё так же смеялся и блестел зубами, которые у него все были из золота. Грохот от падения стола был такой, что броненосец с севера, уже лет двадцать, с тех пор как прибыл с дружеским визитом, стоявший у пристани, объявил карантин, опасаясь, что змеиный яд может попасть к нему на борт, а люди, праздновавшие вербное воскресенье, вышли из церкви со своими освященными пальмовыми листьями, не дождавшись конца мессы, потому что каждому хотелось увидеть, что происходит с ужаленным, а того уже раздувал воздух смерти и теперь он в объёме был вдвое больше прежнего, изо рта у него шла желтая пена, и было слышно, как дышат его поры, но по-прежнему он хохотал так жизнерадостно, что все бубенцы на нем звенели. Увеличиваясь, тело его разорвало шнурки гетр и швы одежды, а перстни, казалось, вот-вот разрежут на кусочки его пальцы, лицо его обрело цвет солонины, и все, кто видел, как его ужалила змея, поняли, что он, хотя еще жив, уже гниет и скоро рассыплется на такие мелкие кусочки, что придется сгрести его и сыпать лопатой в мешок, но в то же время они думали о том, что, даже превратившись в опилки, он не перестанет смеяться. Зрелище было настолько невероятное, что морские пехотинцы из северной страны повзбировались на мостики корабля, чтобы фотоаппаратами с телеобъективом заснять его оттуда в цвете, но женщины, вышедшие с мессы, помешали им выполнить свои намерения, накрыли умирающего одеялом, а на одеяло положили освященные пальмовые листья, одни для того, чтобы не дать морским пехотинцам осквернить тело своими чужеземными штуковинами, другие потому, что было страшно смотреть на нечестивца, способного умереть от смеха в буквальном смысле этого слова, а некоторые надеялись, что таким способом избавят от яда хотя бы его душу. Все уже были уверены, что он мертв, когда одним движением он сбросил с себя пальмовые листья и, еще не совсем очнувшись и не оправившись до конца от происшедшего, без посторонней помощи снова поставил стол, вскарабкался на него кое-как, и вот он уже опять кричит, что противоядие это прямо-таки благословенные господине в пузырьке, как мы все в этом убедились, и стоит всего-навсего два кватилю¹, потому что изобрел он это противоядие не корысти ради, а для блага людей, кто еще там говорит, будто это одно и то же, и только прошу вас, дамы и господа, не напирайте, хватит на всех.

Но люди, конечно, напирали, и правильно делали, потому что на всех не хватало. Один пузырьрек приобрел даже адмирал с броненосца, позволивший убедить себя в том, что снадобье это защитит также и от отравленных пуль анархистов, а члены экипажа, увидев, что им не

¹ Название монеты, одна четвертая часть реала.

сфотографировать человека, ужаленного змеей, мертвым, не только стали снимать его стоящим во весь рост на столе, но еще заставили его давать автографы, и он их давал до тех пор, пока руку не свело судорогой. Уже совсем стемнело, почти все разошлись, в порту оставались только самые неприкаянные, и тут он стал искать взглядом кого-нибудь с лицом поглупее, ведь нужно было, чтобы кто-то помог ему убрать со стола и упаковать пузырьки, и, конечно, взгляд его остановился на мне. Это был словно взгляд судьбы, не только моей, но и его, и хотя с тех пор прошло уже больше ста лет, мы с ним помним все так, как будто это было в прошлое воскресенье. Так или иначе, но мы уже складывали с ним эту аптеку фокусника в чемодан с пурпурными завитушками, скорее похожий на гробницу мудреца, когда он, должно быть, увидев внутри меня какой-то свет, которого не увидел сразу, спросил равнодушно, кто ты, и я ответил, что я сирота при живом отце, и он расхохотался даже громче, чем когда на него действовал яд, а потом спросил, чем ты занимаешься, и я ответил, что не занимаюсь ничем, просто живу, потому что все остальные занятия ломаного гроша не стоят, и он, все еще плача от смеха, спросил, есть ли на свете такое, что мне все-таки хотелось бы знать, и это был единственный раз, когда я ответил ему серьезно и сказал правду, что хотел бы научиться гадать и предсказывать, и тогда он перестал смеяться и сказал, будто размышляя вслух, что для этого мне не хватает совсем немногого, глупое лицо, которое для этого необходимо, у меня уже есть. В тот же вечер он поговорил с моим отцом и за реал с двумя квартильи и колоду карт, способных предсказывать любовные победы, купил меня навсегда.

Таков был Блакаман-злой, потому что Блакаман-добрый — не он, а я. Ему по плечу было убедить астронома, что месяц февраль на самом деле лишь стадо невидимых слонов, но когда фортуна поворачивалась к нему спиной, он становился жестокосердным. В свои лучшие времена он был бальзамировщиком вице-королей и, рассказывают, умел придать их лицам выражение такой властности, что они потом еще по многу лет правили даже лучше, чем при жизни, и никто не осмеливался хоронить их до тех пор, пока он не возвращал им обычного вида мертвых, но его положение пошатнулось после того, как он избрал шахматы, в которых невозможны ни поражение, ни победа, а партия длится бесконечно; игра эта довела до безумия одного капеллана и стала причиной самоубийства двух титулованных особ, и после этого он покатился вниз, стал толкователем сновидений, потом гипнотизером, которого приглашают для развлечения гостей на дни рождения, потом зубодером, удаляющим зубы путем внушения, и наконец ярмарочным знахарем, и в ту пору, когда мы с ним познакомились, даже пираты не принимали его всерьез. Мы мотались по свету вместе с нашей кучей лжелекарств и жили в вечной тревоге из-за наших свечей, делающих контрабандистов невидимыми, из-за капель,

которыми жены-христианки, незаметно накапав их в суп, могут сделать богобоязненными мужей-голландцев, и из-за всего того, что вы выберете сами, дамы и господа, и я вовсе не настаиваю, чтобы вы покупали, а просто советую не отказываться от своего счастья. Но хотя мы и умирали со смеху над всем тем, что с нами происходило, на самом деле нам едва удавалось заработать себе на хлеб, и теперь он надеялся только на мое предсказательское искусство. Переодев меня в японца и при помощи цепи закрепив у правой стенки внутри похожего на гробницу чемодана, он запирает меня в нем, чтобы я оттуда предсказывал, а сам он в это время лихорадочно листал грамматику, отыскивая лучший способ заставить людей поверить в его новую науку, а вот перед вами, дамы и господа, младенец, терзаемый светляками Иезекииля, и вот, например, вы, сеньор, ваше лицо выражает недоверие, давайте посмотрим, хватит ли у вас духу спросить его, когда вы умрете, но я даже никогда не мог сказать, какой сегодня день и месяц, и в конце концов он потерял надежду на то, что я стану предсказателем, это из-за того не работает твоя железа прориданий, что ты после обеда спишь, а потом, чтобы удача к нему вернулась, ударил меня палкой по голове и сказал, что отведет меня к отцу и потребует с него назад деньги. Как раз тогда, однако, ему посчастливилось обнаружить способ применять электричество, рождаемое страданием, и он стал делать швейную машинку, которая работает, если присоединить от нее присоски к испытывающей боль части тела. Но так как я ночи напролет стонал от палочных ударов, которыми он осыпал меня для того, чтобы у него кончилась полоса невезенья, ему пришлось, чтобы иметь возможность испытать свое изобретение, оставить меня у себя, и мое возвращение стало откладываться, а его настроение подниматься, и наконец машинка заработала прекрасно, стала шить не только лучше любой послушницы, но и вышивать, в зависимости от силы боли и от того, где болит, птичек и цветы астромелии. В таком положении мы и пребывали, уверенные, что одержали наконец победу над невезеньем, когда до нас дошла весть о том, что адмирал с броненосца, пожелав продемонстрировать в Филадельфии действие купленного им противоядия, превратился в присутствии своего штаба в варенье из адмирала.

Прошло много времени, прежде чем он стал смеяться снова. Мы бежали по тропинкам, которые знают одни индейцы, и чем дальше мы забирались, тем яснее слышали голоса, извещавшие, что под предлогом борьбы с желтой лихорадкой в страну вторглись морские пехотинцы и рубят головы всем явным и тайным торговцам зельями, которых встречают на своем пути, и не только коренным жителям, этим на всякий случай, но и по рассеянности китайцам, по привычке неграм и за то, что они заклинатели змей, индийцам, а потом уничтожили фауну и флору и, что могли, из минералов, потому что их специалисты по нашим делам объяснили им, что жители Карибского

побережья ради того, чтобы досадить гринго, могут даже изменять природу. Я не понимал, ни почему морские пехотинцы в такой ярости, ни чего мы с ним так боимся, пока мы не оказались в безопасности наедине с ветрами Гуахиры, дующими от начала времени, и только тут у него хватило духу мне признаться, что противоядие его было не более чем смесью ревеня со скипидаром, но он заранее заплатил два кварталью какому-то бродяге, чтобы тот принес лишенную яда мапану. Мы поселились в руинах миссии колониальных времен, поддерживаемые иллюзорной надеждой на то, что появятся контрабандисты, те, кому можно доверять и кто только и способен решиться ступить на эти пустынные солончаки, оказаться под ртутной лампой этого солнца. Сперва мы ели копченых саламандр с сорняками и могли еще смеяться, когда попытались съесть, сварив предварительно, его гетры, но когда мы съели и паутину с поверхности прудов, мы поняли, как не хватает нам оставленного нами мира. Поскольку я в то время не знал никакого средства против смерти, я просто лег, приняв положение, при котором болело меньше, и стал ее ждать, а он в это время вспоминал в бреду о женщине, такой нежной, что она, вздыхая, могла проходить сквозь стены, но даже эти любовные страдания были придуманы им специально, чтобы посмеяться над смертью. Однако в час, когда мы уже должны были быть мертвыми, он подошел ко мне и сел рядом, полный жизни как никогда, и провел ночь, наблюдая за моей агонией, думая с такой силой, что я до сих пор не знаю, ветер тогда свистел среди развалин или его мысли, а перед рассветом сказал тем же голосом и так же решительно, как в прежние времена, что теперь он наконец знает истину, и заключается она в том, что это из-за меня искривилась линия его судьбы, так что затяни ремень потуже, потому что то, что ты мне искривил, ты же мне сейчас и выпрямишь.

Тогда-то я и начал терять те крохи расположения к нему, которые во мне еще оставались. Он сорвал последние тряпки, какие на мне были, закатал меня в колючую проволоку, насыпал в мои раны селитры, замариновал меня в собственных моих водах и повесил за щиколотки на солнце, и при этом кричал, что такого умерщвления плоти недостаточно, чтобы умиротворить его преследователей. Кончил он тем, что бросил меня гнить в моих собственных бедах в карцере покаяния, где миссионеры в колониальные времена наставляли на путь истинный еретиков, и с коварством, которого у него еще оставалось в избытке, стал, используя искусство чревоуещания, которым владел в совершенстве, подражать голосам съедобных животных, созревшей свекле и журчанью родников, чтобы мне казалось, что от голода и жажды я умираю среди необыкновенного изобилия. Когда же наконец контрабандисты поделились с ним съестными припасами, он стал спускаться в подземелье и приносить мне еды ровно столько, сколько нужно было, чтобы не дать мне умереть, но потом я расплачи-

вался за эту милостыню тем, что он вырывал у меня клещами ногти и мельничными жерновами стачивал зубы, и жил я только надеждой на то, что у меня еще будут время и возможность избавиться от этих унижений и страшных пыток. Я изумлялся тому, как выдерживаю вонь собственного гниения, а он еще бросал мне сверху свои объедки и кидал куски дохлых ящериц и хищных птиц, чтобы совсем отравить воздух в моей темнице. Не знаю, сколько времени так прошло, когда он принес труп зайца, желая показать, что скорее бросит его гнить, нежели даст мне съесть, и даже тогда я не потерял самообладания, а только разозлился, схватил зайца за уши и швырнул в стену, вообразив, что о стену расплющился не зверек, а мой мучитель, и потом все было как во сне, заяц не только ожил и закричал от ужаса, но и, шагая по воздуху, вернулся ко мне в руки.

Вот так началась моя новая прекрасная жизнь. Именно с тех пор я брожу по свету и снижаю температуру больным малярией за два песо, возвращаю зрение слепым за четыре пятьдесят, обезвоживаю страдающих водянкой за восемнадцать, безруким или безногим от рождения восстанавливаю конечности за двадцать, а потерявшим их в результате несчастного случая или драки за двадцать два песо, а если по причине войны, землетрясения, высадки морской пехоты или любого другого стихийного бедствия, то за двадцать пять, обычные болезни исцеляю все разом по договоренности, с помешанными беру в зависимости от того, на чем помешались, детей лечу за половину стоимости, а дураков за спасибо, и ну-ка, дамы и господа, у кого из вас повернется язык сказать, что это не чистая филантропия, а теперь наконец, господин командующий двадцатым флотом, прикажите своим мальчикам убрать заграждения и пропустить страждущее человечество, прокаженных налево, эпилептиков направо, паралитиков туда, где они не будут мешать, а менее острые случаи пусть подождут сзади, только, пожалуйста, не наваливайтесь на меня все разом, иначе я ни за что не отвечаю, могу перепутать болезни и вылечу вас от того, чего у вас нет, и пусть от музыки закипит медь труб, и от фейерверков сгорят ангелы, а от водки погибнет мысль, и пусть придут канатоходцы и шлюхи, скотоубойщики и фотографии, и все это за мой счет, дамы и господа, потому что на этом кончилась дурная слава мне подобных и наступило всеобщее примирение. Вот так, прибегая к уловкам депутата, я усыпляю вашу бдительность на тот случай, если вдруг смекалка меня подведет и кто-нибудь из вас почувствует себя после моего лечения хуже, чем до него. Единственное, что я отказываюсь делать, так это воскрешать мертвых, потому что они, едва открывают глаза, набрасываются с кулаками на того, кто нарушил их покой, а потом все равно либо кончают самоубийством, либо умирают снова, уже от разочарования. Сперва за мной ходила свита ученых, желавших убедиться в моем праве заниматься тем, чем я занимаюсь, а когда удостоверились, что это право у меня есть, они стали пугать

меня тем кругом ада, где пребывает Симон Маг, и посоветовали мне остаток жизни провести в покаянии, чтобы я стал святым, но я со всем уважением, которого они заслуживают, ответил, что именно с этого я в свое время и начинал. Ведь мне, артисту, не будет после смерти никакой пользы от того, что я стану святым, и хочу я только одного, жить и нестись очертя голову на этой шестицилиндровой колыхаге с откидным верхом, какую купил у консула морской пехоты вместе с шофером, который в свое время был баритоном в опере нью-орлеанских пиратов, вместе с теперешними моими рубашками из натурального шелка, моими восточными лосьонами, моими зубами из топазов, моей парчовой шляпой, моими комбинированными, из кожи двух цветов ботинками, хочу спать и впредь сколько пожелаю по утрам, танцевать с королевами красоты и кружить им голову своим почерпнутым из энциклопедии красноречием, и у меня не затрясутся поджилки, если как-нибудь в среду, в первый день сорокадневного поста перед пасхой, у меня пропадут мои способности, ведь для того, чтобы жить и дальше этой жизнью министра, мне более чем достаточно моего глупого лица и моих бесчисленных лавок, которые тянутся отсюда до мест по ту сторону сумерек, где те же туристы, что прежде вносили с нас налог в пользу своего военного флота, теперь лезут, расталкивая друг друга локтями, за фото с моим автографом, за календарями, где напечатаны мои стихи о любви, за медалями с моим профилем, за кусочками моей одежды, и все это несмотря на то, что я в отличие от отцовотчества не высечен из мрамора, не торчу днем и ночью верхом на лошади и не обделан весь ласточками.

Жаль, что эту историю не сможет повторить Блакаман-злодей, тогда бы вы убедились, что каждое слово в ней правда. В последний раз, когда его видели, он уже растерял даже булавки, которыми было приколото к нему его прежние великолепие, а благодаря суровости пустыни у него исчезла душа и перемешались в теле кости, но два или три бубенчика в косе у него еще оставались, и этого было больше чем достаточно, как-то в воскресенье он появился снова в порту Санта-Мария-дель-Дарьен со своим неизменным чемоданом, похожим на гробницу, только на этот раз он не торговал противоядиями, а просил голосом, надтреснутым от избытка чувств, чтобы морские пехотинцы расстреляли его на глазах у всех, тогда он сможет продемонстрировать на себе способность этого вот сверхъестественного существа воскрешать людей, дамы и господа, и хотя у вас, которые столько времени страдали от моих обманов и мошенничеств, есть все основания мне не верить, я клянусь вам костями моей матери, то, что вы сегодня увидите, есть не что иное, как истинная правда, а не что-то из потустороннего мира, и если у вас на этот счет остаются хоть какие-нибудь сомнения, присмотритесь хорошенько и убедитесь, что сейчас я уже не смеюсь, как прежде, а с трудом сдерживаю слезы. Можно представить себе, какое впечатление на всех произвело, когда он с глазами,

полными слез, расстегнул на груди рубашку и стал похлопывать там, где сердце, указывая этим смерти самое лучшее место, однако морские пехотинцы, боясь оплошать на глазах воскресной толпы, стрелять не стали. Кто-то, должно быть, помнивший его старые блакаманствования, куда-то сходил и принес ему в жестянке несколько корней коровяка, которых хватило бы на то, чтобы всплыли брюхом вверх все корвины¹ в Карибском море, и он схватил жестянку с такой жадностью, словно собирался эти корни есть, и он на самом деле их съел, дамы и господа, только, пожалуйста, не приходите в ужас и не спешите молиться за упокой моей души, ведь умереть для меня все равно что сходить в гости. В этот раз он повел себя честно, не стал, как на сцене, изображать предсмертный хрип, а только спустился кое-как со стола, выбрал на земле, поколебавшись, самое подходящее место и с него, уже лежа, посмотрел на меня как на родную мать, вытянул вдоль тела руки и, все еще сдерживая свои мужские слезы, испустил последний вздох, и столбняк вечности выкрутил его сперва в одну сторону, а потом в другую. Да, это был единственный раз, когда наука меня подвела. Я положил его в тот красноречивой формы чемодан, куда я вмещаюсь целиком, заказал для него заупокойную службу, которая из-за того, что облачение на священнике было золотое и в церкви сидели три епископа, обошлась мне в четыре раза по пятьдесят дублонов, и приказал возвести для него на холме, овеваемом с моря самыми приятными ветерками, часовню, а в ней была гробница, достойная императора, и на чугунной плите заглавными готическими буквами написано — здесь покоится Блакаман-мертвый, которого многие называли злым, посрамитель морской пехоты и жертва науки, и когда я решил, что этими оказанными мною почестями воздал должное его добродетелям, то начал мстить ему за унижения, которым он меня подвергал, я воскресил его внутри его бронированной гробницы и оставил там биться в ужасе. Это произошло задолго до того, как порт Санта-Мария-дель-Дарьен съели муравьи, но часовня с гробницей, ничуть от них не пострадавшая, до сих пор стоит на холме в тени драконов, спящих в ветрах Атлантики, и каждый раз, когда я бываю в тех краях, я привожу полную машину роз, и сердце у меня, когда я вспоминаю о его добродетелях, разрывается от жалости, но потом я прикладываю ухо к чугунной плите и слушаю, как он плачет среди остатков развалившегося чемодана, и если вдруг он умирает снова, я его снова воскрешаю, ибо наказание это прекрасно тем, что он будет жить в гробнице, пока живу я, то есть вечно.

¹ Корвина — съедобная рыба семейства колючеперых.

ИСКУШЕНИЕ

О милосердии молю, господи! Изю всех испытаний, коим ты подвергал мою веру, сие есть, по разумению моему, наитруднейшее. В веселии, но и в сомнении пребывает слабый мой дух. По воле твоей стал я ныне счастливейшим и несчастнейшим из смертных. Прости, всевышний, раба твоего, чье сердце преисполнено к тебе любовью. Избавь меня от тревог и вызволи, ибо ты это можешь, из происшествия, о коем не ведаю, к худу оно или к добру.

Открываю тебе сердце свое, о будущий декан семинарии святого Анаклета. Я, аббат Херонимо, чья подпись заключает сии записи, открываю тебе, повторяю я, сокрушенный дух свой на заре дня, что, быть может, станет напуганнейшим или наисчастливейшим из дней моих. И дабы ты безрассудств моих не повторил, надобно, чтобы узнал ты мою историю или хотя бы начало оной, ибо завершение ее мне неведомо, и неведомо, буду ли жив я, чтобы тебе о ней рассказать. Посему пусть свидетельствует и пребудет доказательством происшедшему мой дневник — то, что я записал в нем с рокового дня, послужившего всему началом.

I

Месяца января десятого дня года тысяча шестьсот шестого.

Нечто весьма прискорбное постигло меня сегодня. После утренней службы я поднялся опять в свою келью и только сел переписывать старинные хартии, как уши мои услышали звук тихих шагов. Я обернулся, полагая, что это какой-нибудь из юных послушников, убежавший от своей работы, однако, к величайшему изумлению своему, увидел, что тот, кого я счел послушником, на самом деле прекрасная отроковица.

Сразу подумал я, не убежала ли сия дева, повредившись рассудком, из отчего дома, ибо одежда, что была на ней, едва прикрывала наготу, и держалась отроковица не стыдливо, а бесстыдно, как ни единая из дев, коих я видел в своей жизни. И, глядя на нее, глаголет я:

— Юная дева, ты, верно, повредила рассудком. Не иначе как шла ты в исповедальню и ошиблась дорогой. Лучше вернуться тебе к отцу и матери.

На что она ответила:

— Простите, ошибаюсь не я, а вы. Это эксперимент. Темпоральные координаты перенесли меня в вашу келью.

(«Темпоральные координаты» я запомнил хорошо, ибо попросил ее диковинные сии слова повторить дважды.)

— Не ведаю, о чем глаголешь,— промолвил я.— Не англичанка ли ты будешь? Или, может, цыганка?

— Я живу в Южной Америке,— произнесла она.

— За океаном, значит?

— Да.

— И как же живется тебе среди дикарей? Не думал я, что там тоже живут женщины.

— В моей стране дикарей нет, и женщин в ней живут миллионы.

— Полагаю, уважаемая госпожа, тебя я старше, и едва ли сможешь ты спасению души своей, обманывая смиренного аббата.

— Вы старше меня? Сколько же вам лет?

— Тридцать девять.

— А мне — пятьдесят один.

— Пятьдесят о...дин? Смотри, дитя, я предостерег тебя об опасности, коей грозят тебе такие шутки. Уверен, тебе не больше двадцати лет.

— Только так думать вы и можете, учитывая ваши знания,— промолвила она, пожав плечами.— Но ведь в моей стране люди живут лет до ста тридцати, так что я еще и половины не...

— Боже милостивый!.. Возвращайся немедленно к отцу и матери.

— Вы не поняли, сеньор. Отец и мать мои не здесь.

— Не здесь?! А где же они?

— Они...— и показалось мне, будто не знает она, что ответить,— еще не родились.

— Что за глупости ты говоришь?

— И я еще не родилась,— строптиво рекла она.

— Неужто? А с кем я говорю?

— Со мной.

— Так я и думал! В сей же миг удалишься ты отсель с родителями или без оных.

— Простите, но я не смогу уйти, пока мои...

И узрел я нечто ужасное, отчего до конца дня утратил дар речи. То, что я, по простоте души своей, принял за смертное создание, начало таять в воздухе! Сквозь тело девы проглянул мой шкаф. Затрепетал я, уразумев, какой великой опасности подвергся: сам сатана явился мне во плоти!

И пал я на колени, моля всемогущего о милосердии. Потом спустился поспешно к большому алтарю, и там, между двух капителей, провел остаток дня и всю ночь в покаянии. Только услышав птах щебечущих, поднялся я в свою келью и сомкнул вежды.

II

Месяца января одиннадцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Еще светало, когда, проснувшись, ощутил я вдруг дуновение могучего ветра, что сбросил многие бумаги мои на пол и едва не

загасил свечу. Собрав бумаги, я узрел снова, к великому ужасу своему, то же дьявольское видение.

— Сгинь, сатана! — возопил я, потрясая распятием перед дьяволом.

Сколь тяжкое испытание, боже, послал ты мне! С ужасом узрел я, как дьявол нежно мне улыбнулся. Но не упал я духом и замаяхнулся крестом. Однако дьявол в образе отроковицы увернулся ловко от святого распятия, отошел в темный угол и там уселся.

— Не бойся, ничего плохого я тебе не сделаю, — молвил сатана.

Хорошо ведомы мне уловки, к коим прибегает искунитель для погибели нашей.

— Зачем ты здесь? — спросил я, пытаюсь взором своим пронзить сатану. — Не хочу внимать тебе.

— Выслушай меня. То совмещение пространственно-темпоральных сил и координат, благодаря которому я здесь, очень скоро исчезнет. Еще несколько минут, и я вернусь в свою эпоху. Поэтому буду кратка. Поручение мне дано очень простое: взять тебя с собой туда, откуда я прибыла. Там ты... — тут произнесла она непонятные слова. — В общем, не могу объяснить тебе сейчас, что ты будешь делать. Когда окажешься там, поймешь. Сперва, конечно, подвергнешься интенсивному лечению, но оно безболезненно и продлится всего несколько часов...

— Замолчи! — закричал я гневно. — Ежели мнишь смутить рассудок мой множеством небылиц, коих сама не разумеешь, то не надейся...

Вставши, пошел сатана ко мне. Видя это, опять поднял я распятие и стал крестить им нечистого.

— Сгинь! — возревел я. — Подойдешь — конец тебе!

Узрев перед лицом своим крест господень, заморгал искунитель и остановился.

— Нужели ты меня этим ударишь? — спросил меня с простодушным притворным враг рода человеческого.

О небеса, почто дозволено сатане превращать в свою игрушку самую Красоту? Диковинная одежда облегла формы столь многообещающие, что...

Тут-то и понял я: дьявол меня соблазняет. Убедившись, что не одолеть меня словесами лживыми, пустил он в ход теперь самое сильное свое оружие: плотское вожделение.

— Я вижу, — произнесла сатанинская отроковица, — сегодня ничего не получится, уж слишком ты возбужден, лучше нам подождать несколько дней. Может, за это время ты разберешься, что к чему; во всяком случае, подумай о том, что я тебе сказала. Тебя там ждет изобилие. У тебя будет все. И проживешь ты там вдвое дольше, чем здесь.

— Ни богатством, ни бессмертием не соблазнишь! Возвращайся

в темные владения свои и оставайся там навеки! Во имя господя, повелеваю тебе я...

И, как и ожидал я, сатана начал растворяться в воздухе и исчез прежде даже, чем я успел совершить крестное знамение.

За полночь уже, а сон меня никак не берет. Вожделение мучит меня беспощадно. Как возможно, чтобы порождение ада было так прекрасно? Подобной улыбки я ни у одной смертной не видывал. В твои руки, господи, себя вручаю!

III

Месяца января двадцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Из-за прибытия тому несколько дней назад монсеньора Франсиско поднялся переполох. Потому, наверно, и не появился искушитель.

Когда монсеньор отслужил мессу, попросил я, чтобы он оказал мне милость: исповедал меня в своей келье. Там рассказал я ему, что со мной приключилось. Пособолезновал мне он и дал кропило, овященное самим папой.

— Возьми,— сказал монсеньор,— и, когда князь тьмы появится и снова будет тебя искушать, соверши сим кропилом обряд изгнания беса.

Возблагодарил его я и удалился. Полагаю, что известит обо всем святейший престол. Тому, как я у него исповедовался, уже два дня. А вчера поутру поспешил от нас монсеньор в Вальядолид.

Хоть подарок монсеньора и успокоил меня, одолевает меня великий страх. Несмотря на все старания свои, не могу спастись никуда от некоей мысли, что не оставляет меня ни днем, ни ночью. Весьма трудно было мне убедить себя, что столь красивая и на праведницу похожая дева есть всего лишь образ искушающий, дьяволом сотворенный на погибель смертным. Но временами охватывает сомнение: а что, если это не дьявол вовсе?.. Но того быть не может. Что это, если не адское видение?

Подобно стреле отравленной, вонзившейся в сердце, сомнение разъедает мой дух.

Оторвался на миг, дабы взять священное писание. Открыл наугад и прочитал:

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

«Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: отче мой! если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».

Теперь снова чувствую я, что не победить меня и наихудшему бесу. Вспоминаю, сколько бодрствовал и размышлял спаситель, дабы смог вынести потом предвозвещенные ему муки, и дух мой крепнет. Ведь рядом с его муками мои ничтожны.

IV

Месяца января тридцатого дня года тысяча шестьсот шестого.

Пришел наконец час испытать святой обряд изгнания беса; но, к величайшему смущению моему, произошло все не так, как я надеялся.

Когда, после ужина вскоре, писал я, склонившись над бумагами, пала на меня тень. Заградясь распятием, поспешил я в угол, где поставил загодя таз со святой водой и кропилом. Но ни вода, ни кропило не помогли.

Создание (ибо не знаю уже, как видение это называть) стояло посреди кельи и только моргало, пока кропил я его святой водой и произносил заклания, и лишь потом, когда обряд совершился, молвило:

— Надеюсь, теперь ты убедился, что я говорила тебе правду. Никакой я не дьявол и не демон. Таких существ в моем мире нет.

Улыбнулось видение, сие глаголя, а может, это мне померещилось просто. Засим продолжало:

— Я вижу, окончательно ты еще не решил. Сейчас я опять уйду, но потом таким же путем вернусь. Мы решили предоставить тебе максимум возможностей все обдумать и принять решение. Каждый раз, как мы вводим твои данные в...— опять какое-то слово неведомое,— мы получаем один и тот же ответ: никто лучше тебя, после того, как ты адаптируешься, не поможет нам в выполнении нашей задачи. Напоминаю, аббат: тебе предлагают возможность увидеть места, какие тебе и не снились; места, где люди не знают, что такое война и бедность.

Почудилось мне в словесах сих нечто новое.

— Уж не хочешь ли сказать ты, что люди в тех местах не враждуют? — усомнился я.

— Хочу. Там, где я живу, царит вечный мир.

— А король и повелитель ваш разве вас не наказывает?

— Никаких повелителей у нас нет, человека почитают только за его знания, а поскольку все нравственны, никому никого наказывать не приходится.

И создание исчезло.

V

Месяца февраля десятого дня года тысяча шестьсот шестого.

Ныне живу я как в преисподней. Бессчетное множество раз открывал я ученые книги и отыскал наконец ответ. С самых первых мгновений подозревал я истину. Сотворить столь великую красоту

никакому демону не под силу. И как ни много огня в очах этих, глядящих столь нежно, огонь этот — не огонь преисподней. Господи, как же она прекрасна!

Боль непонятная и пронизывающая раздирает мое нутро. Страдаю я, брожу как в тумане, и разум мой более мне не служит.

Все понимать я стал после неудавшейся попытки изгнать беса. Прости глупость раба своего, господи! Не демон, а ангел уговаривал меня, и так терпеливо, принять его царство! А ныне тоскует душа моя оттого, что столь опрометчиво сей дар отринула. Страх, что создание это может не вернуться более, терзает меня и не дает мне покоя. Как же не уразумел я? Ведь изобилие, здоровье, долгая жизнь, вечное счастье, мир — это рай! И был он совсем рядом!

Снова открыл наугад священное писание и теперь прочитал:

«Отче! о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! впрочем, не моя воля, но твоя да будет».

И пусть свершится все по слову твоему, боже!

Последнее желание мое — чтобы дневник сей, к коего началу дописал я несколько строк, сохранен был другим в назидание и поучение.

Помоги, господи, чтобы все сбылось! Чую, вернется скоро, и хоть не знаю я, что меня ожидает, верю, однако, что ничего дурного, ибо там, где живет она, ничего дурного быть не может.

Вот он я, господи, пред тобой, блуждающий по невесть каким дорогам. Огради раба твоего от погибели, и хоть раз, да пребудет воля моя, ибо с таким ангелом-хранителем готов я отправиться в рай и в ад.

ОПЯТЬ ЭТОТ РОБОТ!

Гавана, 19 февраля 2157 года

Дорогой Рени!

Лидия летит на Ганимед, и я пользуюсь случаем отправить тебе несколько строк. Едва узнав о том, что мы расстались, и о том, как опечалена я твоим отъездом, она сразу предложила захватить для тебя письмо, так что оно должно попасть к тебе очень скоро. Лидия сказала мне, что на Деймосе пробудет недолго, но все равно успеет оставить письмо на местной почте.

Твою прощальную записку Роби мне передал. Ты представить себе не можешь, как я расстроилась! Я столько раз перечитывала ее, что буквально зачитала до дыр.

Любимый, неужели ты не понимаешь: нельзя, чтобы из-за ерунды разрушился наш брак. Такое было бы просто абсурдно. Все произошло из-за Роби, но ведь он, бедняжка, руководствовался самыми лучшими

намерениями. Если бы ты его сейчас видел — он такой грустный! Он робот очень впечатлительный и теперь ничего не делает, только лязгает суставами и горюет.

И уж, если говорить честно, давай признаем, любимый: ты виноват не меньше, а то и больше, чем он. Если бы не эти противные стеклянные конденсаторы, ничего бы не случилось. Ведь не зря, наверно, пишут на этикетке: «Берегите от роботов». О чем ты думал, когда оставлял их на полке в кухне? Наверняка о своих ужасных сатурнианских круках. Не понимаю, чем эта гадость тебя так приворожила?..

Но, возвращаясь к Роби: если бы ты не оставил стеклянные конденсаторы на виду, Роби не схватил бы их и не поменял бы на них свои. А ведь ты знаешь сам, как эти конденсаторы влияют на внутреннее, такое чувствительное, устройство любого робота: Роби впал в эйфорию, и, когда ты попросил у него лунное средство для укрепления волос, он, не посмотрев на этикетку на пузырьке, дал тебе пятновыводитель. Повторяю: опять виноват только ты. Кому бы другому могло прийти в голову поставить пятновыводитель рядом с лунным средством для укрепления волос?

Легко могу представить себе, что ты сейчас думаешь: если бы я внушала Роби, что брать чужое нельзя, он бы не поменял конденсаторы. Ты прав, дорогой, но только наполовину: Роби еще очень мал и слова «нет» не знает. Завод, отправляя роботов на рынок, наклеивает на каждого этикетку с надписью: «Хороший робот, может делать все»; и любому ребенку известно, сколько приходится потратить сил, чтобы устранить такое представление о собственных возможностях из маленького металлического мозга.

Лучше будет, если историю с пятновыводителем ты выкинешь из головы. Наберись мужества и признай: виноват был не только он. К тому же, лысым ты был только семь месяцев.

Да, да, знаю, о чем ты думаешь: о случае в лаборатории. В этой мерзкой лаборатории! Как же я рада, если бы ты знал, что Роби покончил хоть на какое-то время с твоими ужасными экспериментами.

«Опять этот робот!» — зарычал ты тогда свирепо. Это были первые твои слова на следующее утро после того, что ты называешь «катастрофой», и ты не подумал о том, что бедный Роби стоит около тебя и для его схемы эти твои слова могут иметь роковые последствия!

Но кому, кроме тебя, любовь моя, придет в голову, что маленький робот может отличить сатурнианского крука от ящерицы? Хотя тебе очень хотелось спать, ты ни в коем случае не должен был соглашаться на то, чтобы Роби навел в лаборатории чистоту, пусть намерения у него были при этом самые хорошие. И уж подавно не следовало тебе просить его выбросить мертвых ящериц в мусоропровод.

Что Роби по ошибке выбросил из сосудов не мертвых ящериц, а живых круков, не так уж важно. Но никогда не позволю я взвалить на него вину за то, что случилось позже.

Если твоим обожаемым крукам взбрело в голову вылезти из мусоропровода, вернуться в лабораторию, разбить два пузырька несмываемых марсианских чернил, съесть подопытных крыс и разбросать по лаборатории твои неудобочитаемые записи, то уж Роби, извини, абсолютно здесь ни при чем. Он только выполнял приказ выбросить мертвых ящериц. И, коли на то пошло, раз уж твои мерзкие круки съели крыс, их-то, круков, ты и должен был бы использовать как подопытных животных, а не вопить в присутствии малыша.

Но понимания и чуткости от тебя ждать не приходится. Все мысли у тебя только о круках, и ты не придумал ничего лучшего, чем подобрать их, заговорить с ними как с детьми и бережно и любовно посадить назад в клетку.

Просто стыд! Что сказали бы знакомые, если бы увидели, как ты стоишь перед клеткой и любишься этими омерзительными тварями, которые только и знают, что строить рожи и показывать язык.

Нет, просто в голове не укладывается! Убеждена, любовь моя, что тебе следовало бы показаться психиатру. У меня всегда было ощущение, что работа на Деймосе никак не способствует укреплению твоего эмоционального равновесия; более того, сейчас у меня ощущение, что она тебе просто вредна.

Но оставим эту неприятную историю и поговорим о нас самих.

Если вернешься на Землю, мы сможем поехать отдохнуть на несколько дней. Уверена, что на Базе возражать не будут.

Я уже думала об отеле «Селена» в Варадеро — идеальное место для нового медового месяца. Говорят, в «Космическом баре» там чудесно, и к тому же это единственное место на Кубе, где услышишь «музыку пространства».

Сейчас Роби стоит около меня. Смотрит из-за моего плеча, как я пишу, и когда я уверила его, что ты скоро приедешь, глазенки его заморгали от радости. В том, что ты приедешь, убеждена я не только потому, что ты меня любишь, но и потому, что, кроме меня, никто на Земле не вынесет твоих противных-препротивных круков, без которых ты жить не можешь.

Жду космограммы, в которой ты сообщишь о том, когда вернешься. Шлю тебе всю свою любовь.

Ана

Р. С. Роби просит, чтобы ты, если можешь, что-нибудь ему привез. По-моему, лучше всего стеклянные конденсаторы.

Хуан Хосе АРРЕОЛА

ИСТИННО ГОВОРЮ Я ВАМ

Всем лицам, заинтересованным в том, чтобы верблюд прошел через игольное ушко, следует внести свое имя в список содействующих эксперименту Никлауса.

Покинув некую смертельно опасную группу ученых (из тех, что имеют дело с ураном, кобальтом и водородом), Арпад Никлаус посвятил ныне свою исследовательскую работу достижению благой и глубоко гуманной цели: спасению души богачей.

Согласно разработанному Арпадом Никлаусом плану, для этого нужно будет превратить верблюда в пучок элементарных частиц и этот пучок пропустить через игольное ушко. Приемное устройство, очень похожее принципом своего действия на кинескоп телевизора, мгновенно соберет элементарные частицы в атомы, атомы в молекулы, а молекулы в клетки, и верблюд будет воссоздан в его первоначальном виде. Никлаусу уже удалось, к ней не прикасаясь, переместить каплю тяжелой воды. Оказалось также возможным измерить (с разумными допущениями) энергию верблюжьего копыта, превращенного в кванты. Нет смысла обременять память читателя соответствующей астрономической цифрой.

Единственную серьезную трудность создает для профессора отсутствие у него собственного атомного реактора. Эти установки величиной с целый город очень дорогостоящи. Однако специальный комитет уже работает над разрешением денежных проблем путем сбора пожертвований. Первые приношения, еще несколько робкие, расходуются на издание тысяч брошюр, проспектов и рекламных листов, и они также обеспечивают профессору Никлаусу скромное жалованье, позволяющее ему, пока возводятся огромные лаборатории, продолжать теоретические изыскания и расчеты.

В настоящий же момент комитет располагает лишь иглой и верблюдом. Поскольку общества защиты животных одобряют этот проект, не только не опасный, но даже полезный для здоровья любого верблюда (Никлаус говорит о вероятной регенерации всех клеток организма), верблюдов из зоопарков страны поступило на целый караван. Нью-Йорк без колебаний предоставил своего всемирно известного белого верблюда.

Что же касается иглы, Арпад Никлаус очень ею гордится и считает ее краеугольным камнем эксперимента. Это не простая иголка, а чудо, подаренное миру талантом и трудолюбием профессора. На первый взгляд иголка эта совсем обыкновенная. Госпожа Никлаус, обнаруживая незаурядное чувство юмора, находит удовольствие в том, чтобы штопать ею одежду мужа. Однако ценность ее, по сути, беспредельна. Сделана эта игла из тяжелого металла, место которого в периодической таблице еще не определено, а буквенное обозначение, если исходить из крайне туманных намеков профессора, наводит на мысль, что речь идет о физическом теле, состоящем исключительно из изотопов никеля. Ученые до сих пор ломают себе голову над этим таинственным веществом. Немало нашлось таких, кто поддерживает смехотворную гипотезу о синтетическом осмии или отклоняющемся от нормы молибдене, или таких, кто осмеливается публично повторять

слова одного завистливого профессора, уверявшего, что он узнал металл Никлауса в крохотных кристаллических вкраплениях внутри плотных масс железного шпата. Определенно известно одно: игла Никлауса вполне способна противостоять трению о нее потока элементарных частиц на сверхкосмической скорости.

В одном из разъяснений, которые так любят давать известные теоретики, профессор Никлаус сравнивает верблюда в момент прохождения сквозь игольное ушко с нитью паутины. Он говорит, что если мы захотим соткать из этой нити кусок ткани, то для того, чтобы его расстелить, нам потребуется все мировое пространство, и все звезды, видимые для нас и невидимые, будут блестеть на фоне этого куска ткани капелками росы. Если начать сматывать нить в клубок, окажется, что длина ее исчисляется миллионами световых лет, и тем не менее профессор Никлаус предполагает смотать ее в верблюда всего за три пятых секунды.

Как ясно каждому, проект этот абсолютно осуществим и, мы бы даже сказали, в высшей степени научен. Он уже пользуется симпатией и моральной поддержкой (правда, еще не подтвержденными официально) лондонской Лиги межпланетной информации, председателем которой является маститый Олаф Стейплдон.

Ввиду повсеместной растерянности и беспокойства, вызванных предложением Никлауса, комитет считает очень важным привлечь к проекту внимание всех состоятельных людей мира, чтобы те не попались на удочку к шарлатанам, проводящим сквозь отверстия небольшого диаметра не живых, а мертвых верблюдов. Эти личности, у которых еще поворачивается язык называть себя учеными, на самом деле всего лишь мошенники, охотящиеся за простаками. Действуют они крайне примитивно: погружают верблюда в растворы серной кислоты все меньшей и меньшей концентрации. Затем, превращая образовавшуюся жидкость в пар, они в таком виде пропускают ее через игольное ушко и думают при этом, что совершили чудо. Как ясно каждому, эти лжеученые потерпели полную неудачу, и финансировать их деятельность бессмысленно. Нужно, чтобы верблюд был живым как до, так и после невозможного перемещения.

Вместо того чтобы изводить тонны свечей и тратить деньги на сомнительную благотворительность, лицам, заинтересованным в вечной жизни и отягощенным лишними капиталами, следует остановить свой выбор на превращении верблюда в поток элементарных частиц: оно научно, красиво и в конечном счете выгодно. Говорить об излишней щедрости в случае, подобном этому, абсолютно неуместно. Здесь просто надо закрыть глаза и пошире открыть карман, твердо зная, что все расходы возместятся сторицей. Награда будет одинаковой для всех вкладчиков; сейчас важно внести свой вклад как можно скорее.

Какая общая сумма потребуется, станет известно лишь при завершении эксперимента, исход которого, вообще говоря, предсказать

невозможно; и профессор Никлаус со свойственной ему честностью соглашается работать только если смета будет достаточно гибкой. Вкладчики должны терпеливо, и не один год, выплачивать свои взносы. Нужно будет нанять тысячи техников, администраторов и рабочих. Придется создать региональные и национальные подкомитеты. И должно быть не только предусмотрено, но и разработано во всех деталях положение о преемниках профессора Никлауса, поскольку реализация проекта, как вполне разумно предположить, может растянуться на несколько поколений. В этой связи нелишне указать на преклонный возраст профессора.

Как любое человеческое начинание, эксперимент Никлауса допускает два возможных исхода: провал или успех. Успех Никлауса, помимо того, что он разрешит проблему их личного спасения, превратит финансировавших этот мистический эксперимент в акционеров сказочной по своим возможностям транспортной компании. Будет очень легко разработать практичный и экономически выгодный способ превращать людей в пучки элементарных частиц. Растворенные в молниях, люди завтрашнего дня за какое-нибудь мгновение и без малейшего риска будут перемещаться на огромные расстояния.

Но еще более многообещающим представляется возможный провал. Если Арпад Никлаус и в самом деле фабрикант химер и на нем оборвется целый род обманщиков, гуманитарное значение его труда от этого только возрастет. Ничто тогда не мешает ему войти в историю в качестве славного инициатора превращения капиталов в пучки элементарных частиц. И богачи, оставаясь один за другим без средств, целиком ушедших на выплату взносов, будут легко входить в царство небесное через узкую дверь (игольное ушко), хотя верблюд в нее не прошел.

СОДЕРЖАНИЕ

Арольдо КОНТИ.	
Adastra	3
Хулио КОРТАСАР.	
Маленький рай	19
Луис БРИТТО ГАРСИА.	
Монополия мод	21
Реклама	22
Страшилище	23
Габриэль ГАРСИА МАРКЕС.	
Искусственные розы	25
Блакаман-добрый, продавец чудес	29
Даина ЧАВИАНО.	
Искушение	37
Опять этот робот!	42
Хуан Хосе АРРЕОЛА.	
Истинно говорю я вам	44

МАЛЕНЬКИЙ РАЙ

Редактор М. М. Жигалова
Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 02.09.86. Подписано к печати 22.10.86.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,02. Усл.-кр.
отт. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 2721. Заказ № 3625.
Цена 30 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

